D13 5/154

Д13754

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА.

В. С. СВИТЫЧ

НАДГРОБНОЕ СЛОВО АЛЕКСАНДРУ II

А. В. ДОЛГУШИН

ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЕ

(Из воспоминаний о политичеекой каторге 80-х г.).

1458/2

1458/2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТЕРБУРГ□1921.

Никем указанная на книге цена **не может быть повышена**
Государственное Издательство.

КАТАЛОГ КНИГ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

Просп. 25 октября, д. 28.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

	Р.	К.
Алексеев и Варлен. Два речи . . .	—	70
Арну. Мертвецы Коммуны	—	45
Его-же. Народная история Парижской Коммуны	10	—
Афиногенов (Степной), Н. Записки ополченца. Разошлось	1	25
Бакс. Парижская Коммуна.	1	75
Барбюс. В огне. Дневник полувзвода. Перев. Арденина. 1-е и 2-е издания разошлись. Печатается 3-е издание.	30	—
Басов Верхоянцев. Венок. Сказки . .	5	—
Бебель, А. Интеллигенция и социализм	1	25
Его-же. Из моей жизни. Мемуары, т. I.	7	50
Его-же. „ „ „ „ т. II, ч. I.	20	—
Его-же. „ „ „ „ т. II, ч. II.	40	—
Его-же. „ „ „ „ т. III . .	50	—
Его-же. Христианство и социализм .	—	50
Его-же. Положение женщины в настоящ. и будущ.	5	—
Бессалько. Алмазы востока. Сказки с иллюстрациями.	8	—
Блосс, В. История французской революции	32	—
Беллами. Равенство	—	—
Богданов. Красная Звезда	5	20
Его-же. Инженер Мэнни	7	—
Браке. Долой социал-демократов. . .	1	—
Брусянин. В борьбе за труд	3	—
Бухарин. Программа коммунистов . .	1	75
Его-же. Долой международных разбойников. Разошлось. Печ. 2-е изд.	—	40
Его-же. Классовая борьба и революция в России	1	80
Быстрянский. Империализм	—	35
Его-же. Армия империализма и армия революции. Война империалистическая и война революционная. . .	2	—
Его-же. Империалистическая Англия против социалистической России .	—	40
Его-же. Рабоче-крестьянская революция в России в оценке буржуазной публицистики	2	—
Вандервельде. Социализм и искусство.	—	90
Ватин. Что такое коммуна?	—	20
Вейтлинг. Человечество, каково оно есть и каким должно быть. . . .	—	85
Величкина, В. Борец за свободу Вильгельм Вейтлинг	1	—
Венок коммунаров. Сборн. памяти В. Володарского, с рисунками . .	4	—
Войнич, В. Овод. Роман. Пер. с английского З. Венгеровой	4	50

	Р.	К.
В-ик, Л. Уголок немецкой оккупации.	—	50
Володарский, В. Напутственная речь агитаторам. 3-е издание	—	50
Его-же. Речи.	15	—
Волховский. Сказание о царе Симеоне.	1	25
Враги ли евреи рабочим и крестьянам. Разошлось. Печат. 2-е изд. .	—	40
Гайк-Ад-янц. Крестьянский вопрос во Франции	—	55
Гауптман. Ткачи. Драма	3	—
Его-же. Пред восходом солнца. Драма.	10	—
Геккель, Э. Происхождение человека.	3	—
Герром, Г. От революции к революции.	1	20
Горичев. Таблица исчисления заработной платы от 150 до 1000 р. при 6 и 8 час. рабочем дне	5	—
Горлов, Н. Темные силы, война и погромы	—	40
Горький, Максим. Макар Чудра. С иллюстр.	1	—
Его-же. Челкаш	1	50
Его-же. Двадцать шесть и одна . . .	1	50
Его-же. Дед Архип и Ленька . . .	1	10
Его-же. Емельян Пиляй	1	20
Его-же. Дело с застежками	—	80
Его-же. На плотах	1	30
Его-же. Мальва	1	80
Его-же. Коновалов	2	60
Его-же. Тюрьма	6	—
Его-же. Проходимец	10	—
Его-же. Скуки ради	1	40
Его-же. Васька Красный	2	50
Его-же. Кирилка	1	30
Его-же. О евреях	1	10
Его-же. Как я учился	—	90
Его-же. Мое обращение	—	10
Гра, Ф. Марсельцы	7	—
Грейлих, Г. Буржуазная революция и освободительная борьба рабочего класса	1	40
Гусев. Теория пролетариата (научный социализм)	1	20
Декав. Фленго. Рассказ из времен Коммуны 1871 г.	—	25
Декреты о суде.	1	50
Демьян Бедный. Земля обетованная .	1	20
Его-же. В огненном кольце	1	50
Его-же. Песни прошлого	3	—
Его-же. Сытый голодного не разумеет	4	50
Дицген. Религия социал-демократии.	3	50
Евреи, классовая борьба и погромы.	—	40

Д13 5/154

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА

В. С. СВИТЫЧ

НАДГРОБНОЕ СЛОВО АЛЕКСАНДРУ II

А. В. ДОЛГУШИН

ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЕ

(Из воспоминаний
о политической каторге 80-х годов)

1758 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Петербург ▫ 1920

462543

26-я Государственная типография Измайловский пр., 29. Р. В. Ц. Петербург.

„Историко-Революционная Библиотека“ должна отвести видное место историческим расследованиям и воспоминаниям об ужасах русской политической тюрьмы и каторги и политической ссылки. Никогда не будут забыты, не будут вытравлены из сознания знаменитые в русской революции застенки Шлиссельбургской крепости, Алексеевского равелина, центральных каторжных тюрем, Карийской каторги и далекие пустыни отдаленнейших мест Сибири. Но не должны быть забыты и не столь известные, но столь же тяжелой и горькой памяти места заключений, и о них нужно напомнить современному читателю. Одно из таких мест—Новобелгородская центральная для ссыльно-каторжных тюрьма. Сооруженная для уголовных преступников, Новобелгородская централка стала в конце семидесятых годов центральным местом заключения для государственных преступников вплоть до 1882 года.

Об ужасах Новобелгородской тюрьмы русское общество узнало впервые из нелегальной брошюры, напечатанной редакцией „Земли и Воли“ (Кравчинским и Клеменцем) в ее петербургской типографии. Заглавие брошюры „Заживо погребенные“. (К русскому обществу от политических каторжников. С.-Петербург 1878. Стр. 24 + обл.). Это горячее воззвание было написано сидевшим в Новобелгородской тюрьме замечательным русским революционером Александром Васильевичем Долгушиным, который кончил свои дни в Шлиссельбургской крепости.

В 1885 году на страницах № 3-го „Вестника Народной Воли“ появилось „Надгробное слово Александру II“ (Воспоминания полити-

ческого каторжанина). Эти воспоминания, вышедшие и отдельным изданием (в Женеве, в 1907 году, в серии библиотеки „Народных Листков"), написанные красочно и горячо, принадлежат перу новобелгородского сидельца Василия Станиславовича Иллича-Свитыча, скончавшегося в Киеве в 1917 году.

В настоящей книге мы перепечатываем и обращение Долгушина, и воспоминания Свитыча. Они дают живое представление о каторжном режиме для революционеров в конце 70-х и начале 80-х годов.

Ред.

I.

Надгробное слово Александру II.

Воспоминания политического каторжника.

I.

В десять часов, темной безлунной ночью, в первых числах августа, по одной из улиц селения Печенеги легкой рысью едут одна за другой четыре тройки. Разглядеть сидящих на телегах людей трудно, благодаря довольно густой темноте. Кого и куда они везут? Посмотрим. Свернули в одну из боковых улиц; в небольшом отдалении едва заметно выделяются какие-то белые здания. У ворот этих зданий тройки остановились. Над воротами виднеется большая черная доска, на которой при отблеске стоящего невдалеке фонаря можно прочесть белую надпись: „Новобелгородская каторжная центральная тюрьма“. Прежде всего с телеги спрыгнули вооруженные жандармы, которые вслед за тем стали помогать слезть людям, которых они конвоировали. Звук цепей, слышный при вылезании из телеги, указывает на то, что привезенные люди закованы в кандалы.

Сегодня около полудня, не доезжая несколько верст до Харькова, железнодорожный поезд, шедший с юга, остановился в степи. Возле места остановки толпилась кучка полицейских, жандармов и т. п. „охранителей“. Сюда же откуда-то сбоку подкатили четыре почтовые тройки. Из одного вагона стали выходить, один за другим, солдаты, жандармы и между ними четверо молодых людей, одетых в серые арестантские халаты с желтыми тузами на спинах. Их усадили на тройки и повезли...

Вылезшие арестанты, в ожидании прихода смотрителя, которого не оказалось в ту пору дома и за которым послали, столпились

у ворот. Между ними не завязывается никакого разговора: они лишь перекидываются от времени до времени отдельными словами. Каждый из них, утомленный дорогой, думает про себя свою думу, сущность которой состоит, вероятно, у всех в одном вопросе: „придется ли когда-либо выглянуть отсюда на белый свет?“

Через полчаса томительного ожидания тюремные ворота отворились и, сопровождаемые жандармами, арестанты вошли во двор. Вскоре за тем явился смотритель и начал приемку арестантов на каменном крыльце главного тюремного здания. Порывшись в лежащих перед ним бумагах и взяв один из попавшихся „статейных списков“, смотритель выкликает:

— Виташевский [1])! — Юноша лет 20 выходит вперед. — Осмотреть хорошенько, — кивает смотритель в сторону стоящего невдалеке надзирателя.

Начинается тщательный осмотр вещей. Несколько книг и сверток бумаги кладутся на стол перед смотрителем.

— Книги можешь взять с собой,—обращается смотритель к вызванному.—А это что?—табак. Выбросить.—Ты,—и опять это „ты“ подчеркивается и после него делается небольшая пауза,—ты, Виташевский, пойдешь в левую одиночку.

Юноша, пожавши руку товарищам, сопровождаемый надзирателем и двумя жандармами, отправляется в глубину двора.

Та же процедура проделывается и с остальными, причем в левую одиночку отправляют еще одного, а двух других ведут в правую.

Оставим пока смотрителя с его бумагами, весело болтающего с жандармским офицером, и последуем за теми, которых повели в правую одиночку.

Пройдя по двору шагов 50 и завернув за угол главного тюремного здания, они стали подходить к одноэтажному строению, гораздо меньших размеров, чем „главный корпус“. Над входными дверьми красовалась надпись: „правая одиночка“. Отворив дверь, надзиратель ввел своих арестантов в довольно длинный коридор, тускло освещенный керосиновыми лампами, поставленными в амбразурах над дверьми каждой кельи. Из надзирательского номера появилась фигура надзирателя, повидимому, спавшего перед тем, который торопливо застегивал ремень с болтающимся на нем револьвером.

— А, новеньких привели, господа?—обратился он к жандармам.

— Да, принимайте под сдачу. Счастливо оставаться,—обратились к арестантам уходившие жандармы, за которыми усердный надзиратель поспешил затворить дверь.

---

[1]) Осужден на 4 года каторжных работ по делу о вооруженном сопротивлении в Одессе, на Садовой улице, в 1878 году (дело Ковальского).

— Степанов, сходи к смотрителю за ключами,—обратился „старший“ к подошедшему к нему в то время из другого конца коридора „младшему.“

По уходе последнего, старший надзиратель стал обыскивать приведенных. Он заставил их разуться, тщательно осмотрел „коты“, снял халат и подверг все тщательному осмотру; затем приступил к ощупыванию по всем направлениям надетого на арестантах белья. Через несколько минут были принесены ключи, и вновь прибывшие отправились в назначенные им номера, которые тотчас же были заперты на ключ.

Номера, в которых поместили прибывших, представляли из себя каждый комнату длиной в 5, а шириной в $2^1/_2$ шага. У одной из стен прикреплена деревянная койка, у противоположной, в углу, приколочен деревянный столик, несколько больше квадратного аршина. Возле стола—деревянная табуретка, рядом с которой помещается ящик, в кубический аршин величиной, это—„параша“, необходимая принадлежность всех российских тюрем. Против входной двери находится небольшое окно с двумя рядами стекол, из которых нижний ряд замазан снаружи серой краской. Окно расположено на высоте роста среднего человека. Дверь довольно массивной конструкции окована с внутренней стороны сплошь листовым железом. В верху двери пуговка от звонка, а посредине квадратное отверстие в $^1/_4$ аршина, запираемое плотно окованной железом форточкой. Над дверьми сквозная в коридор амбразура, в которую на ночь ставится лампа. Все номера в таком же роде. Разница между ними лишь та, что расположенные на северной стороне коридора — несколько больше: внутреннее устройство и мебель те же.

Порядок, существующий в обыденной жизни заключенных, состоит в следующем: часов в 6 утра летом и в 7 зимой надзиратель начинает отпирать номера для того, чтобы заключенные привели их в порядок, т.-е. вынесли параши, подмели полы, а раз в неделю и помыли их с помощью швабры и постирали пыль. Это отпирание номеров производилось всегда так, чтобы заключенные не могли видеть друг друга. Для достижения цели, надзиратель отпирал номер, лежащий в глубине коридора, выпускал заключенного с парашкой, а по возвращении давал ему щетку и отпирал номер, лежащий ближе к входной двери. Обитатель этого номера проделывал то же, что и выпущенный перед ним. Когда оба номера были выметены, они тщательно запирались, и надзиратель поступал так же с двумя другими. Начиная с этого времени, заключенных выводили на прогулку. Гуляли в трех местах, расположенных таким образом, чтобы гуляющие, по возможности, не могли

видеть друг друга, а если это когда-либо случалось, то даже простое раскланивание издали вызывало неудовольствие на лице надзирателя, а подчас и замечание. Во время прогулок возле каждого гуляющего все время торчал надзиратель, наблюдавший за ним. Номеров в правой одиночке, кроме занимаемого надзирателями, пятнадцать, и все они были заняты. Иногда при утренних выпускаиях кто-нибудь из проходящих по коридору заключенных крикнет своему товарищу привет или осведомление о его здоровьи. За такую дерзость все находящиеся налицо надзиратели, друг перед другом, накидываются на ослушника приказаний начальства. Так, например, на другой день по прибытии новых, о которых мы упомянули в начале рассказа, Мышкин [1]), проходя по коридору, кричит:

— Откуда вы, товарищи? по каком уделу и как ваши фамилии?

— Ну, ну, иди, не останавливайся, не разговаривай, проваливай дальше, — накидываются все присутствующие надзиратели, и пока Мышкин успевает выслушать ответ, его уже ухватили за руки и тащат...

Нужно вам знать, читатель, что в комнате, занимаемой надзирателями, на стене была приклеена писанная инструкция за подписью смотрителя Грицылевского, благородного офицера в отставке, сподвижника Муравьева-Вешателя в 60-х годах в Литве. Содержание инструкции приблизительно следующее:

„Каторжным арестантам, заключенным в одиночные камеры, не позволять петь, говорить, читать вслух, наблюдать, чтобы они не виделись друг с другом и вообще не имели между собою никаких сношений. Обращаясь к ним с чем-нибудь, надзиратели должны говорить непременно „ты“. О всяком неисполнении заключенным требований надзирателя немедленно докладывать мне. За неисполнение предписанного в настоящей инструкции с виновного будет сделано строгое взыскание.

Смотритель тюрьмы Грицылевский“.

Прогулками пользуется каждый из заключенных около часу времени два раза в день. Часов около 10 разносят хлеб. Отворяется дверная форточка, в нее просовывается рука надзирателя с $2^1/_2$ фунт. черного хлеба, и из-за двери слышится голос: „бери хлеб“. В одиннадцать часов время обеда. Раздают его в деревянных посудах, именуемых „бачками“, вместимостью в 90 кубических вершков. Содержимое этих „бачков“ состоит из так называемых щей—мутной, темной водички с обрывками мяса и капельками

---

[1]) Осужден особым присутствием сената на десять лет каторжных работ по процессу 193-х.

сала в скоромные и со следами конопляного масла в постные дни. Кроме этих следов животных и растительных продуктов, в бачке плавают и лежат на дне кусочки рубленных капустных листьев, ткань которых почти успела превратиться в древесину. После обеда раздается для питья вода или квас; впрочем, воду можно иметь в любое время. После обеда опять начинается гуляние в том же порядке, как и утром. В пять часов ужин, состоящий из той же мутной воды, в которой капуста заменена крупой, с теми же следами сала или масла. Часов в 6—7 номера запираются на всю ночь. Вначале лампы не давались внутрь, а, как мы уже сказали, ставились над дверьми в амбразурах. Освещение при таком порядке настолько скудно, что о чтении нечего и думать. Впоследствии, по просьбе некоторых заключенных, им стали давать до 9 часов лампы внутрь камер, после чего они ставились все-таки на свое место.

Мы начали свой рассказ со времени привоза последних „политических“ в центральную тюрьму отчасти потому, что читатели уже несколько знакомы с порядками и с происходившим здесь до этого времени из брошюры „Заживо погребенные“; отчасти потому, что с этого времени много интересного стало в жизни заключенных, а отчасти потому, что как раз с этого момента террор начинает систематизироваться, вызывая со стороны правительства новые и новые репрессалии, не остающиеся бесследными и для обитателей каторжных одиночек.

II.

Четвертого августа в Петербурге был убит Мезенцев. Через 2—3 дня в централке, перед рассветом, когда в одиночках все еще спали, амбразуры над дверьми были закрыты приспособленными для этой цели досками, камеры осторожно отворены и к каждому обитателю номера ворвалось по два надзирателя, которые стали производить самый тщательный обыск. До этого времени проживавшая в Печенегах мать одного из заключенных присылала кое-что из съестного для всех 28 человек политических. После убийства Мезенцева это ей было воспрещено, и свидания с сыном, которые ей давались один раз в месяц, прекращены.

У заключенных, благодаря присылке некоторым из них родными книг, образовалась небольшая библиотека, которой, разумеется, пользовались все. При получении книг из библиотеки в номера и при возвращении их, они каждый раз подвергались самому тщательному перелистыванию. Всякий кусочек чистой бумаги вы-

вался из книг для того, чтобы воспрепятствовать сношениям заключенных между собой посредством переписки. Несмотря на все предосторожности, принимаемые в этих видах тюремной администрацией, все-таки переписывались. Как это происходило, мы, по очень понятной причине, не объясняем. Предосторожности в этом случае доходили порой до глупости. Не удовлетворяясь вырыванием чистой бумаги из книг, смотритель стал замазывать чернилами даже те чистые страницы, на оборотной стороне которых есть текст. Принадлежности для письменных занятий выдавались в виде тетрадок, пронумерованных и скрепленных подписью смотрителя.

III.

Ежедневная жизнь заключенных тянулась с ужасным, доводящим до отупения однообразием. Сначала вновь прибывшие обыкновенно набрасывались на книги, читали, изучали языки и т. п., но скоро это начинало им надоедать. Организм уставал от такой односторонней работы: ему нужен был труд, кроме мозгового, мускульный, а его-то и не было. И вот начинаются обращения к смотрителю с просьбой дать какую-нибудь мускульную работу. Ответа на это заявление нет никакого. Просьбы продолжаются, но без результата. Наконец, такое положение становится невыносимым...

Вечер... Тишина почти абсолютная: все чем-нибудь заняты в своих номерах. Вдруг из 7 номера, где сидит Мышкин, раздается громкий голос, резко отчеканивающий каждое слово:

— Я тре-бу-ю фи-зи-че-ско-го тру-да, я тре-бу-ю му-скуль-ной ра-бо-ты.

Эти фразы повторяются раз пять. Надзиратель подбегает к двери и в свою очередь начинает кричать:

— Замолчи, чего ты орешь? Перестань, а не то я сейчас на тебя наручни надену [1]).

Требование продолжается и на угрозы надзирателя не обращается внимания.

— Я тебе рот завяжу, если ты не замолчишь.

Ноль внимания: Мышкин продолжает свое требование, которое повторяется еще несколько раз. Об этом происшествии, конечно, доносится смотрителю, который, повидимому, пока ничего не предпринимает для удовлетворения требования Мышкина.

На другой день повторяется та же история, только с другим финалом: с вечерней прогулки Мышкин не возвращается, о чем

---

[1]) „Наручнями“ называются цепи, надеваемые на руки: кольца, обхватывающие руки повыше кистей, запираются замком.

обитатели одиночки узнают от Плотникова [1]), который, проходя на другой день утром по коридору, кричит:

— Братцы, Мышкина у нас украли: вчера он не ночевал дома.

— Иди, иди, проваливай, не разговаривай, а то сам попадешь туда, где Мышкин,—раздается грубый голос надзирателя.

Да, Мышкина украли: после вечерней прогулки, вместо возвращения в свою камеру, увели в „главный корпус тюрьмы". Смотритель Грицылевский удовлетворил требование Мышкина, посадив дерзкого в карцер...

Пойдемте с нами, читатель, и посмотрим, что представляет из себя центральный каторжный карцер. Отворив подъездную дверь, мы очутимся в широком и длинном коридоре, в обоих концах которого, рядом с окном, виднеется по одной двери. Отворив любую из этих дверей, мы входим в другой коридор, значительно меньших размеров: он служит умывальной комнатой и ведет в отхожие места. Стена, идущая вдоль средины этого коридора, разделяет его на две половины, из которых одна и есть умывальная комната, а другая, опять таки разделенная пополам, заключает в себе карцерный коридорчик и карцеры. В карцерах абсолютная темнота. Атмосфера насыщена аммиаком и сернистым водородом, выделяющимися в изобилии из соседнего отхожего места и ряжек, находящихся в самых карцерах, куда испражняются посаженные в карцеры. Размеры этих темных клеток таковы, что если человек среднего роста ляжет на пол (а там только и можно лежать, потому что, кроме ряжки, мебели никакой), то он ногами упирается в дверь, а головой в противоположную сторону. Расправив локти, он коснется обеих боковых стенок. Попавшему сюда дается в пищу хлеб и вода, количество которых, начиная с $^1/_2$ фунта первого, может быть уменьшено по усмотрению начальства. Вот этим-то самым карцером Мышкин получил удовлетворение в своем требовании труда...

Узнав об этом, заключенные заволновались и потребовали к себе смотрителя, который, явившись, стал заходить ко всем в номера, где от каждого должен был выслушать то или другое заявление по поводу Мышкина. Через день Мышкин был выпущен, а через два—заключенные получили возможность иметь мускульную работу: им было позволено пилить и колоть дрова. Так как разрешено было работать одновременно только одному, то в помощь ему давались уголовные арестанты из татар, не говорившие по-русски. Понятно, что такое занятие не долго могло удовлетворить работающих. Пиление дров—труд, сам по себе крайне бессмыслен-

---

[1]) Осужден на пять лет в каторжные работы по делу Долгушина.

ный, чисто механический, требующий одного напряжения мышц. Кроме того, это труд нелегкий, требующий большой траты сил, которые и без того не могли восстановляться вполне, благодаря плохому и недостаточному питанию. Следствием этой работы явилась слабость, упадок сил, общее расстройство организма, которое делало еще более невыносимыми те тяжелые условия, в которые были поставлены заключенные. Стали просить о разрешении заняться какими-нибудь ремеслами, но все эти просьбы оставались долгое время без удовлетворения. До чего доходило желание администрации изолировать друг от друга заключенных, можно видеть, например, из следующего: заметив, что некоторые подставляют к печи табуретки и переговариваются в душник, Грицылевский приказал приковать неподвижно, в определенных местах пола, табуретки, хотя это представляло само по себе множество неудобств. С другой стороны, повидимому, проявлялась какая-то заботливость о здоровьи заключенных: заботливость, конечно, только на словах.

Проходит, например, смотритель по двору мимо пилящего дрова и видит, что работающий скинул куртку, хотя на дворе не тепло. „Ах, как же так можно? Ведь так можно простудиться (этот молодец, в обыкновенных случаях, избегает говорить „ты“ или „вы“ и потому выражается безличным предложением); следует надеть куртку“. Знаете, читатель, сопоставляя одно с другим— приковывание табуреток, сажанье в карцер с одной стороны и заботливость о здоровьи с другой, невольно припоминаешь того палача, который, надевая на шею осужденного петлю, стал бы спрашивать, не жмут ли где ему веревки.

IV.

Время идет, тянутся дни, похожие один на другой. Проходят недели, месяцы... Центральная одиночка оказывает свое действие на всех обитателей. Чтение перестает занимать: уставший мозг отказывается работать. Обитатели номеров впадают в какую-то апатию, по неделям не заглядывают ни в одну книгу: многие не ходят гулять. Это дурной признак. Тупая тоска, отчаяние давит несчастных: они с каждым днем чувствуют до осязательности, как слабеют силы; в их мозг проникает уверенность, что одиночка будет их могилой... Дорогой, милой, так страстно желанной свободы им не увидеть больше...

А там за тюремной стеной, в селе, в темную летнюю ночь кипит жизнь... Эхо ее врывается в виде обрывка песни, звука

колокольчика проезжающей тройки или веселого хохота в открытые окна и заставляет страдать наболевшую душу невольного отшельника... Отчаяние становится безнадежным, а жить так хочется... хочется жить, потому что не жилось... Время идет, наступает глухая ночь, в селе смолкают песни и все погружается в тишину...

— Э-э-э-х!..—раздается среди ночной тишины протяжный, тоскливый, отчаянный, хватающий за душу вопль из 4-го №. Какою жгучею болью отзывается этот вопль в сердцах неспящих! Это Бочаров [1]), юноша 23 лет, приговоренный к каторге за демонстрацию на Казанской площади. Такие стоны слышатся уже недели две и днем, и ночью, очень часто. Врач на вопросы других товарищей Бочарова говорит, что у него нервная горячка... Дни идут, и все чаще и чаще слышатся тяжелые стоны и вздохи из четвертого номера. Приходящему врачу Бочаров жалуется, что ему слышатся разные голоса, что он часто слышит, как где-то произносят его фамилию, как кто-то его зовет.

— Успокойтесь, это все ничего: ваше воображение несколько расстроено: не думайте слишком много о своем положении. Читайте, гуляйте, вообще не поддавайтесь.

— Я не могу читать, не хочу гулять, потому что этот воздух, эта зелень, это небо, эта жизнь заставляют меня сильно чувствовать безотрадность моего положения, заставляют меня еще сильнее страдать.

— Ничего, вы только успокойтесь: принимайте бромистый калий, что я вам прописал, и все пройдет.

Но не так вышло, как уверял врач,—не прошло. Не помог бромистый калий, ничто не помогло и не могло помочь, кроме свободы. Бочаров окончательно помешался...

— Чего вы пристали ко мне, окаянные! Убирайтесь вон! Надзиратель, прогони этих женщин! И кто это их пускает сюда без моего позволения? Слышишь, чтобы их больше не было здесь!—кричит Бочаров на надзирателя.

— Да тут никого нет; успокойся, Бочаров! Иди лучше гулять, а то ты все сидишь на месте, вот тебе и представляется всякая всячина. Откуда тут быть женщинам?

Смеркается. Сумерки становятся все гуще и гуще. Гулявшие все возвратились в свои камеры. В корридоре одиночек водворяется тишина...

Заиграйте, гусли-мысли.
Я вам песенку спою...—

---

[1]) Бочаров осужден на 10 лет.

слышится из 4 номера. С каждой новой строчкой, с каждым словом, с каждым слогом, с каждой, кажется, буквой, тон песни становится страстнее...

Я вам песенку спою
Про женитьбу про свою...

В голосе слышатся подавленные рыданья, слышатся слезы. Но больной продолжает:

Как женила молодца
Чужа-дальна сторона...

— Э-э-э-х... Варвары, за что вы меня мучаете? что я вам сделал? Э-э-э-х!..—и стон или вопль переходит в настоящие рыданья. Больной страдалец громко рыдает, он плачет, горячо плачет о гибнущей молодости, о пропадающей жизни, об угасающем рассудке. В темный хаос его бессвязных мыслей в этот момент блеснул луч сознания. Он, на секунду, в состоянии понять весь неописанный ужас своего положения. Сердце больно, больно сжимается, в груди чувствуется стеснение, и он начинает рыдать, горько рыдать...

Острую боль вызывают эти рыдания в сердцах его товарищей по заключению: нервная дрожь пробегает по телу каждого и душой его овладевает ужасное отчаяние при мелькнувшей мысли о такой будущности для каждого из них... На лицах бродящих по коридору надзирателей эти стоны, эти рыдания вызывают неприятную гримасу, и они лишь пожимают плечами и кивают головами. В сущности, их это мало волнует: они привыкли к таким сценам: они видели сумасшедшего Гамова [1]), некоторые из них были надзирателями в доме умалишенных.

На место старого врача поступил новый, военный, из того батальона, который занимал караулы в тюрьмах. Это был молодой человек, сердце которого не успело еще очерстветь при постелях больных, и поэтому он обратил внимание на состояние Бочарова и хотел сделать все для него возможное, чтобы спасти несчастного. С этой целью он ездил в Харьков и сообщил кому-то из высшей администрации о виденном в централке. Ему ответили, что Бочаров будет отправлен в лечебницу для душевно-больных, а пока приказали ему наблюдать за больным.

V.

Часов десять утра. Три человека из одиночки гуляют по двору, а остальные у себя в камерах заняты разными делами: кто чи-

---

[1]) Осужден на 8 лет каторжных работ по делу Долгушина. Привезенный в централку, сошел с ума и в 1876 году умер.

тает, кто пишет, а кто не в состоянии этого делать, думает тяжелую думу. В коридорах какой-то необычайный гул: слышится усиленное движение, топот ног и через минуту звук от падения на пол кучи цепей... „Что это?“ невольно задает себе вопрос каждый.

Отворяется дверь крайнего номера, слышен звук перебираемых цепей и затем удары молота по наковальне. Заковывают в кандалы [1]).

Тревожной надеждой забилось наболевшее сердце узников. „Не в Сибирь ли отправляют?“—мелькнуло в голове каждого.—„Ах, кабы в Сибирь, на Сахалин, куда угодно, только бы вон из этих душных, мрачных конур, которые с каждым днем, с каждым часом разрушают наше здоровье, губят наши силы“... Успокойтесь, несчастные. Ни в Сибирь, ни на Сахалин, никуда вас не повезут отсюда... Это пошатнулись основы Российского императорского государства, и их хотят скрепить цепями, набиваемыми на ваши обессиленные ноги... Несколько дней тому назад убит харьковский губернатор Кропоткин за то, что приказал избить нагайками студентов, за то, что по его приказанию вас мучили, душили, доводили до умопомешательства. И вот за то, что вы осмелились говорить „больно“, когда вас душили, за то, что вы не кланялись и не благодарили ваших палачей, на вас за это надевают цепи... По очереди доходят до 13-го номера. Здесь сидит Свитыч [2]), которому накануне доктор вынул несколько осколков кости из простреленной ноги. Приносят и сюда кандалы, примеряют и начинают заковывать. От неловкого удара молота по заклепке сила его чувствуется в больной ноге и вызывает гримасу на лице заковываемого.

— Ф-ф-ф,—втягивает в себя воздух присутствующий при операции старший.—А что, больно? Нога-то, поди, не зажила еще? Ничего, продолжай.

Опять раздаются удары молота, и дело скрепления расшатанных основ продолжается...

VI.

Глухая ночь... Угнетенные долгим днем гнетущей тоски и бездействия, спят обитатели „правой одиночки“. Не спит только беспокойный жилец 4 номера. Он бродит, как тень, из угла в угол

---

[1]) В кандалах ходили не все и не всегда: это зависело от смотрителя, который заковывал и расковывал по своим соображениям или по приказанию губернатора.

[2]) Осужден на 8 лет каторжных работ одесским военно-окружным судом за вооруженное сопротивление на Садовой улице, где Свитыч и был ранен выстрелом в ногу.

своей конуры и что-то шопотом говорит с собой. В коридоре, на табуретке, прикорнул дежурный надзиратель и, мерно раскачиваясь, слегка похрапывает.

Трр-рах!—слышится сильный удар в дверь 4 номера. Второй, третий, все чаще и сильней... Задремавший надзиратель вскочил на ноги и никак не может сообразить, что делается. Проснувшиеся жильцы других номеров недоумевают и, тревожно оглядываясь, вслушиваются, стараясь объяснить себе раздающийся стук. Это стучит Бочаров. В больном своем мозгу он решил, что добром ничего не поделаешь, и задался намерением выйти на волю через выбитую дверь. Он занят теперь именно этим выбиванием. Потревоженный от сладкого сна надзиратель выбежал в одном белье в коридор и неудомевает, что делать. Старший подходит, наконец, к двери 4 номера и начинает увещевать больного:

— Бочаров, да перестань же ты, что ты делаешь?

— Варвары, палачи, как вы смеете меня здесь держать? Я больше не хочу здесь оставаться.

— Да куда ты ночью теперь пойдешь? У меня и ключей нету, чтобы тебе отворить. Перестань стучать, я тебе говорю.

Больной не унимается: он все сильнее и сильнее колотит табуреткой в дубовую, окованную дверь, и она дрожит и колеблется на своих прочных петлях.

— А, так ты не хочешь слушаться, я тебе задам! —кричит старший. Громко раздаются по коридору удары сумасшедшего: он страстно желает воли, и эта страсть увеличивает его силы, его энергию. Он продолжает разбивать дверь.

Уходивший надзиратель возвратился с ключами и привел еще несколько своих товарищей. Вся ватага осторожно подвигается к двери 4 номера, и старший тихонько поворачивает ключ в замке. Мгновенно, всей кучей, надзиратели напирают на дверь и ею отбрасывают стучащего в глубину комнаты. Ворвавшись туда, они, с каким-то остервенением, кидаются на несчастного безумного, опрокидывают его на койку и начинают душить, стараясь надеть горячечную рубаху. Кости несчастного захрустели под тяжестью восьми здоровых палачей: из наболевшей, придавленной груди вырвался хриплый стон....

До этого момента ничто не обнаруживало происходившего с другими заключенными. Но вот, во 2-м и 13-м номерах, почти одновременно, слышится рыдание, сразу превратившееся в хохот: у Чернявского [1]) и у Свитыча нервы не выдержали, и с ними сде-

---

[1]) Осужден на 15 лет каторжных работ по делу о демонстрации на Казанской площади.

лались припадки, напоминающие истерику... Во все время стука, они дрожали точно в лихорадке и у каждого из них сжималось горло, и каждый сдерживает прорывающиеся рыдания, до боли кусает губы и все чего-то ждет. Но вот оно, ожидаемое: страшный стон придушенного и рыдания прорываются наружу, сначала тихие, подавленные, как бы про себя, они становятся все громче и громче и, наконец, разражаются неудержимым хохотом... Как страшен этот хохот. Как он напоминает хохот безумного.... Хохочущий силится сдержать его, он глотает холодную воду, и все-таки не может перестать хохотать... Из всех дверей слышатся звонки, стук, крики:

— Что вы делаете с ним, разбойники? Не трогайте его,—и т. п.

Но надзиратели делают свое дело—вяжут Бочарова. Они связали его и удалились. Он, повидимому, успокоился, потому что в его номере не слышно больше никаких звуков. В других номерах тоже начинают успокаиваться.

— А может быть, они совсем прикончили его? — задают себе многие вопрос.

— Смотрители, сюда! — слышится из одного номера.

Отворяется дверь, и входит смотритель, бледный, взволнованный.

— Что вы сделали с Бочаровым? отвечайте, вы его задушили? — спрашивает Свитыч.

— Зачем? Его никто не душил, он теперь спокойно спит.

— Я не верю, вы лжете.

Лицо смотрителя искривилось нехорошей гримасой оскорбленного начальства, но, сообразив, что имеет дело с человеком в ненормальном состоянии духа, он принимает равнодушный вид и говорит:

— Можно удостовериться, что его никто не душил.

— Можно? я пойду к нему в номер... — Можно.

Говоривший, действительно, идет в 4-й номер и видит Бочарова лежащим на койке в полном спокойствии, как будто бы за 5 минут перед тем с ним ничего не случилось. Бедный больной, он уже забыл о только что происходившем с ним....

VII.

„Централисты“ узнали об убийстве Кропоткина на третий или четвертый день. Какие чувства пробудил этот факт в сердцах заключенных, мы считаем лишним говорить. По получении этого известия, Зданович [1]), один из осужденных по московскому процессу

) Осужден на 6 лет каторги.

50-ти, в записке к товарищам обратился с вопросом о том, что следует предпринять в виду настоящего факта. „Мы обязаны, писал он приблизительно, протестовать в какой-нибудь форме против всех тех мерзостей, которые проделывают с нами. Но для того, чтобы протест наш не был чем-то оторванным, мне кажется, мы должны сначала обратиться к „дедушке“ и узнать, как он посмотрит на него, и что им будет после предпринято“. Под „дедушкой“, в данном случае, подразумевалась воля. Эта записка ходила по рукам, и каждый высказывал о ней свое мнение. При одной из передач товарищами один другому, она была перехвачена надзирателем и представлена Грицылевскому. Последний, при своих посещениях Здановича, ничем не выказал, что записка у него и что автор ее ему известен: он, напротив, очень любезно и мягко обращался со Здановичем, предлагал исполнить кой-какие его поручения в Харькове и вообще старался ничем не обнаружить своих намерений. Через 2—3 дня по возвращении смотрителя из Харькова, ранним утром, он заходит в комнату к Здановичу и требует его тетрадь. Последнему уже была известна судьба записки, но теперь он понял, что делу дан что называется официальный, законный ход. И действительно, часов около десяти утра Здановича потребовали в теремную контору, где ему пришлось увидеть давно знакомую картину: жандармского офицера, сидящего за столом, покрытым бумагами.

— Расскажите,—обратился офицер к Здановичу,—все, что вы знаете о своей записке, а затем я попрошу вас сделать некоторые разъяснения непонятных нам мест и кличек, встречающихся в вашей записке.

— Ни о самой записке, ни о непонятных вам местах и кличках в ней я не намерен вам ничего говорить.

— Как знаете, но я думаю, вы сделали бы лучше, дав нужные показания.

— Я очень хорошо знаю, что меня ожидает за мой отказ: я знаю, что меня могут заковать в кандалы, обрить голову и т. п., но тем не менее вы ничего от меня не узнаете.

— Помилуйте, г. Зданович, да мы ведь не имеем по закону никакого права принуждать вас давать показания. Вы напрасно думаете, что за это с вас могут взыскивать... Ну, ладно, рассказывайте, что хотите...

Зданович был уведен обратно в свою камеру, а дня через два явился смотритель, с бумагой от нового харьковского губернатора, фон-Валя, сподвижника Берга по усмирению восставшей во имя свободы Польши. В этой бумаге говорилось, что если Зданович не даст нужных показаний, то набить на него кандалы, перебрить ему

голову и лишить переписки с родными. Конечно, все это было приведено в исполнение, так как Зданович ничего не сказал. Расправившись таким образом с левой одиночкой, смотритель хотел позондировать и правую. Для этой цели он подсылает милого батюшку, тюремного попа, который, побывав в двух-трех номерах, заходит в седьмой, к Мышкину, с которым в откровенном тоне заводит разговор о Кропоткине, желая услышать что-нибудь об этом предмете. Будучи все время в крайне раздражительном настроении, как и каждый из сидевших в „одиночке“, Мышкин начинает высказывать одобрительные отзывы попу о самом факте убийства. Попу только этого и нужно было: он немедленно отправился к смотрителю и донес обо всем в подробности. Смотритель сделал свое распоряжение: у Мышкина, заболевшего несколько дней тому назад лихорадкой и переведенного вследствие этого на больничное положение [1]), отнимают тюфяк, служивший ему, как больному, постелью, заковывают в кандалы и бреют половину головы. Больной может спать на голых досках, закованный в цепи.

VIII.

Начальство тюрьмы ждет нового губернатора. По всей централке идет чистка, приведение в порядок: метут двор, белят стены, посыпают песком дорожки, вообще стараются прикрыть все грехи, предстать пред лицо начальства в благообразном виде. Даже арестантам выдали, вместо лохмотьев, нечто действительно похожее на куртки. Ожидание это началось уже давно. Давно уже все суетится в централке, а губернатор все не показывается. Наконец наступил давно жданный день. Еще с утра предупрежденный каким-то благожелателем из Харькова, смотритель бегает по двору и отдает приказания. Надзиратели вырядились в форму и похаживают, все обдергиваясь и подтягиваясь. Все приняло какой-то торжественный вид; даже обед и ужин оказались лучшего качества, чем обыкновенно: должно быть, повар-арестант поусердствовал ради приезда начальства. „Одиночки“ тоже почистились, приумылись. Там тоже чувствуется ожидание. Надзиратели, торжественно настроенные, почему-то начинают ходить на цыпочках, начинают говорить полушопотом...

Прошел обед; обитатели номеров принялись за свои обычные занятия, которые сегодня идут что-то плохо. Мысль не хочет ни на чем остановиться. Одиночка ждет: нервы ее несколько напряжены... Вот слышно, как стоящий под окном солдат гаркнул: „ здра-

---

[1]) Записанные на больничное положение получали для постели соломенный тюфяк, расковывались, если были в кандалах, и получали больничную пищу.

вья желаю, ва-ство". В коридоре волнение. Кто-то громким шопотом произносит: „идет". Все надзиратели вытягиваются в струнку и затаили дыхание... Слышен звон шпор и бряцание сабли...

— Здорово, ребята,—раздается в коридоре резкий голос.

— Здравья желаем, ваше превосходительство,—отчетливо произносят надзиратели.

Генерал фон-Валь подходит к 16-му номеру. Старший быстро подбегает к двери, проворной рукой поворачивает в замке ключ и открывает дверь.

— Как фамилия?—обращается генерал к подобострастно тянущемуся за ним следом смотрителю.

— Цицианов [1]), ваше превосходительство.

С фуражкой на голове, с руками в карманах, Валь вступает в камеру Цицианова. Последний, при входе посетителей, подымается с табуретки и поворачивается лицом к вошедшим. Одною рукой он слегка облокотился на стол.

— Здравствуй.

Безмолвный поклон со стороны Цицианова. На лбу генерала появляются морщины, очи мечут молнии, превосходительные усы зашевелились... Подобострастный холуй-смотритель замечает недовольство генерала, силится угадать предмет этого недовольства, впивается глазами в пространство, по которому направлен генеральский взор. Но тщетно: ничего не может угадать.

Томительная пауза.

— Как ты стоишь?—с раздражением в голосе, наконец, произносит Валь.—Разве так нужно стоять перед начальством? Вот как нужно.—И генерал, быстро вынув руки из карманов, вытягивает их „по швам". Холуй Грицылевский, сообразив теперь суть губернаторского недовольства, стремглав кидается к Цицианову, смотрящему на все это с улыбкой, и старается вытянуть и ему руки вдоль швов.

— Вот так нужно,—лепечет вслед за своим принципалом смотритель, оглядываясь на Валя и как бы ища в его глазах одобрения своему усердию. Генерал доволен: он не сознает всей глупости и комизма настоящей сцены, и, выпятив грудь, подняв самодовольно голову, с видом Юпитера удаляется из камеры.

Отворяется следующий номер. Еще и еще один: всюду выслушивает генерал почти одинаковые просьбы об освобождении от одиночного заключения, о разрешении заниматься ремеслами. Но вот он доходит до 7 номера, занимаемого Мышкиным.

---

[1]) Осужденный на 8 лет каторги по московскому процессу 50-ти.

— Не имеешь ли чего заявить?—обращается к последнему его превосходительство.

— Да, имею,—и Мышкин начинает жаловаться на плохую пищу, на недостаток движения, света, воздуха; говорит, как разрушительно действуют на организм все эти недостатки в связи с одиночеством.

— Сам виноват, не нужно было так поступать, как ты поступал.

— Ну, так души же, души нас, души!—кричит со страстным, злобным отчаянием жилец 7 номера [1]).

Храбрый генерал, разрушитель беззащитного дворца Замойского в Варшаве, озадачен, испуган, оскорблен.

Верный холуй-смотритель, вообразив, что новой „основе“ грозит опасность, кидается в дверь с целью заслонить грудью, если нужно, эту „основу“. Но генерал уже успел оправиться: глупая улыбка ошеломленности еще не сбежала с его лица, но он поднял уже голову и с гордостью выходит в коридор. Валь не заходит уже в другие номера. Мимо, не надо больше: он заходит в „левую одиночку“.

Первым желанием генерала было поспешить в номер, где сидел Зданович. Желание генерала предупредительно исполняется: он в 25-м номере.

— Ну, что же ты себе думаешь? Ты разве совсем не хочешь открыть нам, кто это дедушка?

— Нет, не хочу.

— Вот видишь ли, ты в кандалах, с бритой головой; ты лишен переписки с матерью, у тебя нет письменных принадлежностей; тебе стоит лишь сказать одно слово и получить сейчас облегчение. Скажи.

— Нет, не скажу.

Валь пожимает плечами и затрудняется, что бы ему еще сказать. Зданович начинает ему говорить о несправедливости всех тех стеснений, которым его подвергали; он начинает доказывать всю незаконность, даже с точки зрения Уложения о наказаниях, этих мер. Генерал приходит в волнение: кусает губы, подергивает плечами...

— А, так ты не знаешь, не знаешь... — восклицает генерал.

— Дать ему Устав о ссыльных,—обращается он к смотрителю и удаляется из номера.

Он заходит в следущий, еще в один, другой, наконец в семнадцатый. Здесь сидит Быдарин [2]). Генерал подходит к нему и спра-

---

[1]) За это Мышкин, по приказанию Валя, был посажен на один сутки в карцер.

[2]) Осужден был особым присутствием на 5 лет каторги за распространение книг революционного содержания между рабочими.

шивает, не имеет ли тот чего заявить. Заявления Быдарина те же, что и всех: он просит освободить его от одиночного заключения, из централки, выслать его в Сибирь и т. д.

— Я знаю, чего тебе хочется, чего тебе надо. Открой..... [1]), ты понимаешь, о чем я говорю.

— Нет, не понимаю.

— ..... [2]) в записке Здановича. Открой мне его, и я сделаю все с своей стороны, чтобы твои просьбы были исполнены: я буду ходатайствовать за тебя у высшего начальства.

— Во-первых, генерал, я ничего не знаю о записке Здановича, а во-вторых, если бы и знал, не сказал бы. Я не подлец, не доносчик.

Генерал смущен; он несколько растерялся. Подленькая улыбка, с которой он говорил с Быдариным, играет на его лице, и он, кивая головой и направляясь к выходу, говорит еще:

— Смотри, пожалеешь.

Недели через две после посещения губернатором центральной тюрьмы смотритель заходит в камеру Здановича и подает ему письмо от матери и при нем официальную бумагу. Содержание письма какое-то странное: в этом письме мать Здановича пишет, чтобы он раскаялся, не огорчал начальства, не огорчал ее, лишая возможности знать, что с ним, не подвергал себя лишним страданиям. Она советует ему исполнить желание начальства и открыть фамилии лиц, о которых он говорит в своей злосчастной записке... В официальной бумаге, подписанной Валем, говорилось, что с исполнением желания матери и начальства он получит право опять вести переписку с ней, получит письменные принадлежности, будет раскован и не брит [3]).

Вся эта история состроена Валем. Старуха-мать Здановича получает однажды официальную бумагу от харьковского губернатора, в которой ей предлагают написать сыну письмо вышеприведенного содержания, намекая, что в противном случае ему будет плохо.

Спустя еще недели две, совсем неожиданно, в номер Здановича входит какой-то генерал и с любезной улыбочкой спрашивает, получил ли он письмо от матери и намерен ли отвечать ей. Тот заявляет, что, конечно, ему очень бы хотелось писать матери, но на условиях, которые предлагает Валь, он не может.

---

[1]) Пропуск в рукописи. Вероятно „кто такой дедушка“ или что-нибудь в этом роде.

[2]) Пропуск в рукописи.

[3]) Зданович оставался закованным до самой осени, в которую „централисты“ были отправлены в мценскую пересыльную тюрьму.

— Мне, знаете, все это безразлично: я в это совсем и не вмешивался бы, но генерал фон-Валь просил меня поговорить с вами, и я вот исполняю его просьбу,—отрапортовало новое превосходительство и, с легкостью сильфиды, исчезло из 25-го номера.

История с запиской еще не кончилась: Валь никак не мог успокоиться. Видя, что ничего не поделаешь, он решил испробовать последнее средство.

Зановичу высылался „Журнал Министерства Народного Просвещения“. Для сбережения денег по пересылке, редакция этого журнала высылала за один раз две книжки, за два месяца. Остроумный генерал выдумал испытать свое последнее средство на „Журнале Министерства Народного Просвещения“. В декабре Зданович получил одну ноябрьскую книжку журнала и официальную бумагу от Валя, где говорится, что декабрьская книжка не будет выдана ему до тех пор, пока не откроет фамилии лиц, упомянутых в его записке.

IX.

Второго апреля произошло покушение Соловьева. Слухи о нем очень скоро достигли ушей обитателей „центральных одиночек“. Слухи эти подтвердились еще более осязательно тем, что к живши в Печенегах матери и невесте Виташевского, одного из заключенных, ночью врывается толпа жандармов и полицейских, шарит и нюхает повсюду и, не нашедши ничего колеблющего „основы“, удаляется, приказав матери выехать куда хочет и уводя невесту, которую запирают в харьковскую тюрьму. Отсюда Мержанова (фамилия невесты) была выслана административным порядком в Восточную Сибирь.

Свидания с родными были безусловно запрещены, и всем, имевшим родственников в числе сидевших в „одиночках“ политических преступников, воспрещен был въезд в Харьковскую губернию, а жившим там приказано выехать. После 2 апреля в России были учреждены „временные генерал-губернаторства“. Харьковским генерал-губернатором назначен Лорис-Меликов, который, вскоре по приезде на место, командировал одного из своих генералов для осмотра центральных тюрем. Опять началась чистка, опять уборка и приведение в благообразный вид тюрьмы и ее обитателей. Одиночка опять подбелилась: лишний раз помылись полы, посмылась пыль, опять ее нервы приходят в некоторое напряжение—она ждет. Она слышала, что теперь будет генерал-губернатор. Авось, он что-нибудь сделает. Надо попытаться... Жилец 16 номера, в особен-

ности, нетерпеливо ждет. Он торопливо шагает из угла в угол своей каиуры, первно потирает руки и прислушивается. Глаза его блестят, на лице отражается надежда на что-то. Он почти уверен что его просьба будет исполнена, и на его лице появляется светлая, радостная улыбка... Вот уже сколько времени он чувствует постепенный упадок сил, энергии. Голова работает с каждым днем все хуже. Он чаще и чаще чувствует себя неспособным читать что-либо: мысли его не могут сосредоточиться на содержании книги, они начинают становиться бессвязными, отрывочными, и через эти клочки мыслей резкою черною нитью проходит только сознание, что жизнь его кончится здесь, в одиночке... Перспектива медленной смерти заставляет его сильно страдать; он ищет выхода из этого положения и находит: он решился обратиться к генералу с одной просьбой. И вот мысль о возможности исполнения этой просьбы вызывает радостную улыбку на его лице.

Открывается дверь, и на пороге появляется серенькая фигурка меликовского генерала.

— Не имеет ли чего заявить?—обращается генерал к Цицианову.

— Да имею. Я прошу у вас одной милости, которую оказать мне вы можете очень легко: я прошу у вас для себя смертной казни. Так жить, как меня заставляют, т.-е. медленно умирать, для меня невыносимо: я прошу сократить мои страдания, я прошу себе смертной казни...

На добродушном лице серенького генерала отражается неподдельный ужас, и он не в состоянии ничего ответить: он выходит. Отозвав в сторону смотрителя, он осведомляется у него:

— Неужели им так худо здесь жить, что смерть кажется лучше?

— Нет, ваше превосходительство, это балует: им у меня отлично жить.

Этот подлый нахал, будучи уже исправником в Конотопском уезде Черниговской губернии, рассказывал сестре одного из бывших обитателей одиночек, что у него „политическим“ было жить превосходно, что он, несмотря на строгие инструкции, делал им массу облегчений.

Генерал, озадаченный несколько в 16 номере, с неохотой идет дальше. Слова смотрителя заронили в его душу некоторое сомнение, он плохо выслушивает просьбы об освобождении из одиночного заключения, о разрешении заниматься ремеслом. Отворяется дверь в 13-й номер.

— Не имеет ли чего заявить?

— Да. Кроме тех просьб, с которыми, вероятно, к вам обращались и другие мои товарищи, я просил бы вас еще об одном: в 4 номере сидит Бочаров. Он помешался. Несмотря, как мне из-

вестно, на хлопоты бывшего здесь одно время врача, больного не переводят в Харьков на излечение. Я просил бы вас сделать об этом распоряжение. Бочарова еще можно, кажется, спасти.

— Вы можете сделать заявление только лично от себя и только о том, что касается вас одного,—с нахальным видом вмешивается сопровождающий генерала какой-то хлыщ-прокурор.

— Бочаров может сам за себя говорить.

— Нет, он не может этого сделать: он уже не сознает своего положения.

— Во всяком случае вы можете говорить только о касающемся вас лично. А о других вам нечего заботиться, для этого есть начальство.

— Если так, если для вас нужны только личные, эгоистические побуждения, то я согласен иначе формулировать свою просьбу: мне важен главным образом результат. Я прошу вас перевести в Харьков, для излечения, Бочарова, потому что его присутствие здесь раздражает меня: его стук, его стоны, его рыдания, его бессвязный бред заставляют меня страдать.

Нахал прокурор замолчал: он не находит никаких возражений. Генерал в недоумении переминается несколько секунд и что-то мычит. Затем, любезно раскланявшись, уходит.

— Какой это у вас сумасшедший, разве есть такой?—обращается опять генерал к смотрителю.

— Точно так, ваше превосходительство. О нем было доложено в свое время и теперь, пока, находится под наблюдением врача.

— Давно ли он помешался?

— Нет, не очень давно, ваше превосходительство.

Уже месяцев пять, как Бочаров выказывал признаки умопомешательства...

X.

Из всех животных высшего порядка, кажется, только человек способен лучше и скорее всего приспособиться ко всяким условиям. Человеческий организм ориентируется лучше других во всяком данном положении. Хирург, с некоторой дрожью режущий на поле сражения первые раздробленные руки и ноги, впоследствии смотрит на эти изуродованные части живого человеческого тела, как на простые объекты, к которым он прилагает свои знания.

Толпа, глазеющая на быстро разрастающиеся кровавые пятна на белой глазной повязке и груди расстрелянного, в первый раз

волнуется, возмущается, выказывает сочувствие к жертве и ненависть к ее палачам. Вторая, третья казнь уже не производит на нее такого впечатления, нервы ее притупились: она приспособилась к новым, необычным условиям, условия эти становятся для нее обычными. Для того, чтобы привести ее в прежнее волнение, для того, чтобы вызвать в ней те же, что и в первый раз, чувства, нужно что-нибудь новое: новая форма казни, пожалуй, приведет ее в настроение, подобное первому... Люди всюду остаются людьми...

Светлая лунная ночь начала осени. В открытую оконную форточку четвертого номера каторжной одиночки вливается приятная прохлада. Гулко раздаются в холодном воздухе ночи мерные шаги часового, расхаживающего под окнами. Больной жилец 4 номера неподвижно лежит на постели и думает мучительную думу. Больной мозг его работает неправильно: мысли формулируются неясно, обрываются иногда на половине или быстро перескакивают с одного предмета на другой, не имеющий самого отдаленного отношения к первому. Бедняга напрасно силится сосредоточиться на одном предмете, который его мучит уже в продолжение целой недели бессонных ночей; он старается поймать этот предмет: неясные формы где-то вдалеке мелькают перед ним, он не может их различить.

— Ах, как это мучительно! Ведь от разрешения этого вопроса, от ясного представления этого предмета зависит мое спасение, — шепчет больной.

Гвоздем засела эта таинственная мысль в его мозгу, и он напрасно силится придать ей форму. Он напрягает все усилия больного мозга, и вот-вот ему кажется, он разрешит так долго мучащее его.

В открытую форточку вдруг врываются звуки веселой, залихватской песни села. Эти звуки коснулись слуха так усиленно занятого разрешением своей тайны Бочарова и сразу спутали его мысли, спутали как раз в тот момент, когда, казалось, он достигал так страстно желанного спасения. Он взбешен... Быстро вскакивает он с постели, подбегает к окну, при помощи табуретки взбирается на подоконник и, приникнув лицом к холодному железу решетки, кричит: „Мерзавцы, подлецы, замолчите! Не сметь распевать“!

— Ну, ты, арестантская морда, чего кричишь,—раздается грубый голос часового под окном, — полезай долой с окна, а то я тебе зубы прикладом выбью.

— Как ты смеешь, щепок, обращаться со мной, ведь...—в этот момент вопрос, так давно мучивший больную душу страдальца,

разрешается; он мгновенно открывает то, что так давно занимало его: он не просто Бочаров, он—русский император.—Ведь я твой император. Ты не знаешь этого, болван. Я прикажу тебя расстрелять за твою дерзость....

Проснувшийся от сладкой дремоты надзиратель быстро соображает, в чем дело, и, выбежав на двор, успокаивает расходившегося часового.

— Это сумасшедший,—говорит он солдату,—ты не слушай его и не бойся: он ничего не сделает. Покричит и перестанет.

Несколько успокоенный, солдат отходит от окна Бочарова, но все еще продолжает ворчать:

— Ишь ты, сумасшедший. Коли он сумасшедший, так зачем его держать в тюрьме: ему место не здесь, а в сумасшедшем доме,— рассуждает бесхитростно-логически озадаченный часовой. — Эх! служба... служба... — вздыхает он тяжело и начинает опять свою однообразную прогулку взад и вперед.

Слезший с окна Бочаров быстро ходит по комнате. В его мозгу все больше и больше выясняется тайна, занимавшая его в продолжение прошлой недели: он приобретает все большую и большую уверенность в том, что он русский император. Как это просто теперь представляется! Странно, что он до сих пор этого не мог формулировать. Что было этому причиной? Этот вопрос ему необходимо разрешить. Это не трудно. Ему так тяжело было сделать это открытие, потому что мешали условия. Надо избавиться от них. Он подходит к двери и начинает неистово стучать кулаками: он сделал бы это табуреткой, но она наглухо прибита к полу.

— Надзиратель, мерзавец,—кричит он,—отвори дверь. Я больше не должен здесь сидеть: я император. Слышишь, подлец? Я твой император, ты должен слушаться меня! Ты не понимаешь? я разъясню тебе: Романов Александр убит... Сибирь, откуда я родом, избрала меня императором. Вся Россия тоже признает меня. Еще не все меня признали, но это скоро будет. Отвори лучше сейчас, а то прийдет народ и освободит меня, и тогда тебе горе будет...

Дубовая дверь слегка вздрагивает под ударами обессиленных рук мученика. Удары эти слышны во всех номерах: все жильцы одиночки проснулись. Они дрожат от волнения на своих постелях, но это волнение не так сильно, как в первый раз, оно не приводит к истерике... Нервы одиночки притупились, она приспособилась к стуку и бреду Бочарова: на душах ее жильцов наросли мозоли, защищающие их от волнения. Одиночке нужно что-нибудь новое, чтобы вызвать в ней волнение, подобное тому, что было при первом стуке Бочарова. Это новое не заставит себя долго ждать: условия для его появления так благоприятны...

XI.

Семь часов утра. Номера новой одиночки почти все выметены, остался только пятый. „Старший“ отворяет дверь и дает щетку живущему здесь Соколовскому. Соколовский—поляк, рабочий. В 1863 году, в качестве жандарма-вешателя, он, по приказанию „Центрального Комитета“, казнил какого-то русского баши-базука—полковника, зверствовавшего „за веру, царя и отечество“ в Польше. Арестованный под чужим именем, Соколовский был сослан в Сибирь на поселение. По амнистии он возвратился на родину, где его односельчане „страха ради иудейска“ донесли на него русским властям. Его схватили, как приговоренного заочно на 15 лет каторжных работ, привезли в Печенеги и бросили в одиночку, в 5-й номер. Человек мало развитой, плохо знающий русскую грамоту, Соколовский даже не мог пользоваться единственным удовольствием, предоставленным в распоряжение обитателей одиночек—книгами. Ему приходилось жить исключительно своими собственными мыслями, которые, понятно, сосредоточивались на его несчастии. Он сознавал, что родины, дорогой родины ему больше никогда не видать... а там так хорошо! Весеннее солнце весело играет на крестах небольшого костела родного села. По воздуху, пропитанному ароматом полевых цветов, разносятся волны звуков, идущих от болтающихся колоколов костела. Он, разодетый по-праздничному, с молитвенником в руках, идет в костел. Рядом с ним идет его милая, ждавшая его из Сибири в продолжение 8 лет. Кругом раздается радостная польская речь, так приятно ласкающая его слух. Счастье для него так близко: он начинает его уже испытывать, и вдруг — жандармы, полиция, кандалы, арестантские вагоны, тройка и центральная одиночка... Как ужасно настоящее, как ужасно будущее в далекой, холодной Сибири!.. Нет, так быть не может; его не могут здесь держать: он амнистирован; амнистия была и для Соколовского — его здесь держат противозаконно. Ему, вначале, кажется как сквозь сон, что он читал даже указ о своем прощении. Неясность этого представления рассеивается мало-по-малу, и с каждым днем ему все яснее и яснее видится этот указ. С каждым днем уверенность в амнистии растет в Соколовском, и... наконец, все сомнения исчезли...

Окончив выметать комнату, он выходит в коридор, ставит щетку к стене и обращается к старшему:

— Ну, Яков Иванович, давайте-ка мне мои вещи.

— Какие вещи?

— Мои собственные вещи: мое белье, мое платье, я больше не хочу у вас оставаться, пойду на родину.

— Не дури, Соколовский, куда ты пойдешь? ты пойдешь в 5-й номер, тут твоя родина.

— Нет, Яков Иванович, вы не шутите, давайте из цехгауза мои вещи.

Одиночка прислушивается с напряженным вниманием. Ей непонятно такое требование: она забыла, что для нее может быть другое платье, кроме арестантской куртки.

— Иди, иди, Соколовский, скоро будут возвращаться гуляющие; тебе нельзя тут оставаться.

— Я пойду домой, ты только отдай мне вещи.

Выведенный из терпения упорством помешанного, надзиратель пробует силой втолкнуть в номер Соколовского. Но Соколовский силен, старику „старшему“ не совладать с ним. Дежурный „младший“ бежит на помощь, но и вдвоем они ничего не могут поделать. Младший бежит на двор, сзывает еще человек трех своих товарищей, и соединенными усилиями десяти здоровых рук Соколовский водворен в пятом номере. Но он не согласен здесь оставаться, он хватает табуретку и начинает колотить в дверь. Под сильными ударами здоровых рук его табуретка разбилась в мелкие куски; он подбирает осколки и продолжает уже ими свое дело.

Старший докладывает Грицылевскому о случившемся, тот приходит и убеждается, что с Соколовским неладно...

Да, с Соколовским неладно... Соколовский помешался... Он стучит каждый день, каждый раз, когда идет поверка, когда проходит „общий старший“, когда проходит смотритель, эконом, поп, Соколовский стучит. Изломанную табуретку заменяет тяжелая дубовая крышка от параши. Для обитателей номеров тоже становится ясным, что Соколовский помешался.

Болезненно отдается в сердце заключенного этот стук, каждый дрожит от этих звуков, и в усталом мозгу зарождается страшная мысль, что сумасшествие начинает принимать эпидемический характер...

Соколовский пошел на прогулку. Он ходит взад и вперед по отведенной ему в тюремном саду дорожке. Проходит час, и приставленный надзиратель зовет гуляющего в номер.

— Не пойду я в номер, я пойду на родину: принеси мои вещи,— возражает Соколовский.

— Иди, иди в камеру, не дури—никаких тебе нет вещей.

— Нет, не пойду, отдай мои вещи.

— Сидоренко, пошли там человек четырех этих надзирателей и сам приходи, — обращается наблюдающий за Соколовским надзиратель к проходящему.—Не идет домой, да и шабаш: надо утащить, а двоим нам не справиться.

Посланный Сидоренко приводит нужных людей, и они подхватывают под руки, берут за ноги упирающегося Соколовского и несут. Он барахтается, вырывается, но не в силах ничего сделать. Идущий сзади надзиратель иногда дает „подзатыльника“ упирающемуся, и вся эта процессия направляется к зданию одиночки.

— Пустите меня, мерзавцы! Что вы меня тащите, палачи?— раздается в коридоре голос Соколовского.—За что ты меня бьешь, палач? Ты не бей меня, что я тебе сделал!

Притупившиеся несколько нервы одиночки опять начинают раздражаться. Из многих номеров раздаются звонки.

— Что вы с ним делаете, подлецы? Зачем вы его бьете? Разве вы не знаете, что он больной человек? Неужели у вас совсем нет сердца, что вы можете истязать больного? — раздается то из того, то из другого номера.

— Да мы его не трогаем, — с притворной искренностью отвечают они.

— Его никто не трогает, — уверяют старший смотритель, поп и прочие.

Одиночка сквозь окованную дверь не может проверить справедливость этих уверений: она привыкает к стуку Соколовского, к его крикам, к стону Бочарова: нервы ее устали...

Соколовский стучит, ругается каждый день, он не хочет задохнуться, он протестует против того дикого насилия, жертвой которого сделался...

XII.

Из четвертого номера давно уже не слышно протеста. Жилец его притих. Уже с неделю, как он, стащив с койки соломенный тюфяк, бросил его к противоположной стене на пол и лег на него. По нескольку дней Бочаров не ест ничего. Принесенный хлеб и чашка больничного супа уносятся нетронутые на другой день или, при передаче в дверную форточку, опрокидывается и ошпаривает руки подающего. Несколько раз Соколовский громко кричит, что ему подсыпают в пищу каких-то порошков, что его хотят отравить. Бочаров это слышал: в его больном мозгу не возникло никакого сомнения в этом отношении и он лишь подумал, что то же могут проделать и с ним, русским императором. Он не прикасается к пище. С каждым днем силы его слабеют, организм разрушается. Больной перестал ходить по комнате, потому-что бессильные ноги дрожат и отказываются служить; он лег и лежит...

Мертвая тишина царит в одиночке, обитатели ее давно уже спят. Уже далеко за полночь. Не спит только русский император

четвертого номера каторжной одиночки: он лежит с широко открытыми глазами и повидимому о чем-то думает. Отрывки неясных мыслей летят, перегоняя друг друга, путаясь. Перед умственным взором страдальца изредка мелькают картины прошлого... Видит он раскинувшийся на берегу широкой реки город. Далеко до него из России, верст тысяч пять будет. Это его родной город, это Иркутск мелькнул в его воображении. Рисуется перед ним уютный домик на родной улице этого города, и там, в чистенькой, светлой комнате сидит он, восьмилетний мальчик, и возле него нежно любимая мать. Она учит его читать... Вот промелькнули перед ним его гимназические годы обрывками... В конце города, на выезде, стоят желтые каменные ворота. Он, гимназистиком-подростком, с такими же подростками, проходит в эти ворота... Они подходят к берегу быстрой Ангары, катящей свои зеленоватые волны в Енисей. Вот лодка; они садятся в нее и быстро несутся по течению. Как хорошо он себя чувствует: весело на душе...

Лихорадочно блестящие глаза больного сияют при этих воспоминаниях детства, и на его лице рисуется слабая улыбка блаженства... Но больной мозг не может долго сосредоточиваться на одном предмете: мысль оборвалась, и на лицо падает опять тень безумия, оно принимает вид безжизненности... Но опять мелькают картины. Студенчество, Казанская площадь, красное знамя с надписью „Земля и Воля“—и потом мрак, мрак и мрак...

— Погибла ты, моя молодость, — проносится в его мозгу, и больное сердце сжимается при этой мысли. На глазах страдальца показываются слезы, и он тихо начинает рыдать...

Бессонная ночь пролетела. Серый рассвет глядит в окно 4-го номера. Бочаров все в том же положении. В замке его двери поворачивается ключ, дверь распахнулась, и на пороге показывается фигура смотрителя.

— Ну, как здоровье, Бочаров?

Больной не отвечает и продолжает мутным взором смотреть в пространство. Следом за смотрителем показывается фигура надзирателя с узлом, повидимому, платья на спине. Он входит в камеру и бросает узел на пол.

— Бочаров,—обращается Грицылевский,—встань, вот принесли твое платье, переоденься: ты поедешь отсюда.

Словно электрическая искра пробежала по телу больного! Он озирается кругом и действительно узнает свое платье. Быстро приподымается он с полу, подбегает к узлу и дрожащими руками старается развязать его, но неудачно: обессиленные руки не повинуются, пальцы не могут сжиматься с достаточной энергией, и он жалобно смотрит на надзирателя. Тот сообразил, в чем дело, и

быстро развязывает узел. Судорожно хватает больной то ту, то другую принадлежность одежды и торопливо одевается. Окровавленная, заскорузлая рубаха, носящая на себе следы бойни на Казанской площади и в участке, надета. За ней идет другое белье, платье и, наконец, Бочаров одет. Старший тщательно закутывает ему шею шарфом и они выходят в коридор, на двор, за тюремные ворота. У ворот стоит тройка. Возле нее, поджидая, переминаются озябшие жандармы. Подошедший Бочаров от слабости не может сам взобраться на телегу; жандармы его подсаживают, взбираются сами следом за ним. Уселись. „Трогай!“ Зазвенел колокольчик, и Бочарова не стало в Новобелгородской каторжной одиночке....

Вы думаете, вероятно, читатель, что Бочарова повезут в Харьков на излечение. Вы жестоко заблуждаетесь. Нет, не в Харьков лечиться его повезли. Из Новобелгородской централки его перевели в Новоборисоглебскую... Здесь, в одиночке, после мучительного месяца, он окончил свои страдания смертью...

Соколовский стучит. Под мощным ударом дубовой крышки дверь дрожит, шатается. Еще несколько ударов, и она разлетится в куски. Страстное желание увидеть родину оказалось сильнее дуба и железа: дверь подалась. Но от этого пользы мало для Соколовского. Из пустого теперь 4-го номера вынесена табуретка, снята и вынесена крышка от параши: разбивать дверь не будет чем. Соколовского переводят в четвертый номер, а оттуда, через месяц, тоже в Новоборисоглебскую каторжную одиночку...

XIII.

Центральную тюрьму посетил Галкин-Врасский, начальник главного тюремного управления. Побывал он в одиночках. Обитатели номеров говорили ему о своем положении, о том гибельном влиянии, какое на них имеет одиночное заключение, просили о разрешении заниматься ремеслами. Вскоре после его посещения принесли в пустой пятый номер столярный верстак, несколько инструментов и доски. Устроена мастерская: в ней можно лишь работать одному, поочереди. С жадностью накинулись жильцы номеров на столярную работу: из-за очереди произошли пререкания, споры—борьба за существование... Но не долго продолжалось это рвение. Столярный труд не легок. Ослабевшие мышцы не в состоянии сокращаться в достаточной степени; они не в состоянии с достаточной силой водить пилу, струг. Мало-по-малу накинувшиеся с такой жадностью на работу начинают отставать, и постоянныхпосетителей мастерской становится человека 2—3, ранее привыкших к такому труду...

XIV.

Одиночка делает свое дело... Она, как вампир, высасывает кровь своих обитателей, мучит и сушит их мозг... Соколовский не последний помешанный... Раздается звонок в 3-м номере. Звонит Донецкий [1]).

— Чего тебе?—спрашивает подошедший надзиратель.

— Позовите мне смотрителя.

Последний месяц Донецкий ведет какой-то странный образ жизни: он не читает никаких книг; по целым дням спит, а ночью прохаживается из угла в угол по своей камере. Иногда он что-то строчит. Над его койкой на стене висит портрет Дагмары, датской принцессы, нынешней русской императрицы.

— Это моя сестра по духу,—говорит он вошедшему смотрителю,— я с ней часто беседую, советуюсь с ней. Вот видите ли, г-н смотритель, я сделал величайшее открытие, которое приведет к спасению всего человечества: я открыл величайший мировой закон. У меня все записано; я вам прочту. Впрочем, нет, я лучше так расскажу. Я открыл, что я центр мира. Все самые отдаленные события находятся в прямом отношении ко мне: они связаны невидимой нитью с моим существованием. Видите ли, я родился 29 числа, месяц тут не при чем: по моим вычислениям, мир сотворен 29-го; Жуковский родился 29-го; Пушкин умер 29; Уложение Алексея Михайловича издано 29; начало осады Троицкой Лавры 29; взятие Варны 29; усекновение главы Иоанна Предтечи 29, и я вам могу привести еще массу других фактов более крупного свойства из эпохи реформации, из Великой французской революции и т. п. У меня все это записано. Вы потрудитесь представить это мое открытие начальству. Я знаю, что вследствие этого все люди станут братьями. Вся вражда, все неравенство в мире происходит от того, что люди не знают, где центр. Я этот центр, я! Вы только непременно отошлите мои тетради.

Тетради Донецкого действительно были отосланы в Харьков, главному психиатру.

XV.

Воскресенье. Весело перезванивают на тюремном дворе колокола. Поп собирается служить обедню. В 11-м номере звонок.

---

[1]) За перевозку из-за границы запрещенных сочинений осужден на 5 лет каторжных работ.

— Что тебе, Плотников [1])?—спрашивает подошедший к 11-му номеру надзиратель.

— Я хочу в церковь.

— Хорошо. Онтарев, проводи Плотникова в церковь,—говорит старший дежурному надзирателю.

Плотников, в сопровождении надзирателя, отправляется в тюремную церковь слушать обедню. Давно уже в больном мозгу Плотникова началась работа. Он все размышлял о своем положении и решил, наконец, что так жить, как он до сих пор жил, нельзя. „Все, что ни существует, существует вследствие воли божества — рассуждает он. — Настоящий строй есть тоже воля божия. Бороться с богом преступно: нужно ему покориться, а не бороться. Он хочет, чтобы между людьми не было равенства, и мы не имеем права стремиться к достижению его. Я стремился к этому, и я согрешил: я должен каяться".—Часто стал зазывать Плотников в свой номер попа, которого все остальные прогнали: часто беседует с ним и все на предыдущую тему. Глупый, жадный поп не соображает, что рассудок Плотникова шатается, что он свихнулся. Поп видит в перспективе „наперсный крест" за обращение атеиста [2]), он мысленно пишет статью в „Православное Обозрение" об этом обращении; он уже предвкушает удовольствие от предстоящих ему благ. Соблазнительная перспектива заставляет его все более и более укреплять больную мысль жильца 11 номера в одном и том же направлении. Плотников давно уже ничего не читал; он перестал перестукиваться с соседями и однажды, когда Студзинский [3]) вздумал ему стучать, Плотников передал через надзирателя, чтобы Студзинский ему не мешал, не стучал, потому что это противно инструкции. „Инструкция существует, стало-быть, она угодно богу, а чтобы угодить богу, надо исполнить инструкцию". В силу той же логики, когда на гуляньи кто-нибудь из товарищей кланяется ему, он не отвечает или просит не кланяться, потому что это противно инструкции. Мы сказали, что Плотников давно не читает. Да, поп знает об этом и вот притаскивает ему разные богословские сочинения, приносит ему „Четьи-Минеи", вымышленные и действительные жизнеописания душевнобольных людей. Расстроенному мозгу Плотникова это чтение приходится больше всего по вкусу: он жадно набрасывается на него и читает, читает. Он выпрашивает для себя у смотрителя

---

[1]) Плотников осужден на пять лет каторжных работ (дело Долгушина).

[2]) Плотников на суде на вопрос, какого он вероисповедания, ответил, что он атеист.

[3]) Осужден на четыре года каторжных работ по делу о вооруженном сопротивлении в Одессе (дело Ковальского).

постную пищу. Он начинает ходить каждое воскресенье, каждый праздник в церковь, простаивает там целую службу, кладет земные поклоны, молится. Вот и теперь: он припал лицом к холодному грязному полу и молится: „Господи, я согрешил тяжко перед Тобою, я осмелился воспротивиться Твоей святой воле: я осмелился считать несправедливым дело рук Твоих—существующий социальный строй. Прости мне, Боже! Ты добр, Ты милосерд, Ты не хочешь смерти грешника; Тебе приятнее его покаяние. Я каюсь, горько сожалею о своих заблуждениях. Прости меня". И в больную душу страдальца прокрадывается луч надежды: он начинает надеяться на прощение прогневанного божества. Ему представляется почему-то, что централку должен посетить наследник русского царя. Из Александра II он не надеется; нет, он ждет его наследника...

Звонок из 11-го номера.

— Чего тебе, Плотников?—спрашивает ходивший по коридору старший.

— Дайте мне, пожалуйста, щеток сапожных и ваксы.

— Зачем тебе?

— Нужно почистить коты.

— Что ты, сдурел, зачем их чистить? Да и нет тут никаких щеток ни ваксы.

В одиночку за чем-то приходит смотритель. Плотников просит его зайти. Тот заходит.

— Г-н смотритель, я просил дать мне ваксы и щеток, но мне ответили, что этого не полагается. Мои коты порыжели, потрескались и вообще приняли неприличный вид; не можете ли вы быть так добры и приказать мне выдать новые.

— Хорошо. Сабинин, выдать Плотникову новые коты,—обращается смотритель к старшему.

Плотников получил новые коты; он любуется на них, бережет их. Проходя по коридору, он ими слегка поскрипывает. Сидящие тут надзиратели начинают подтрунивать над Плотниковым:

— Ишь ты его — монах, монах, а франтит; новые коты ему непременно дай. Ишь ты, прифрантился, да еще со скрипом. Вот так монах! Го, го, го, го! — разражаются они громким хохотом...

Глупцы, они не понимают, для чего ему понадобились более приличные коты. Он ждет наследника русского царя: он надеется от него свободы, спасения... Он с нетерпением ждет-не дождется этого желанного момента, он еще усерднее молится богу, еще усерднее кладет поклоны... „Наследника" все нет, а бедный безумец все ждет. Читая какой-то дикий рассказ в своих „Четьи-Минеях", он наталкивается на ту мысль, почему его молитва до

сих пор не услышана, почему ее не достаточно. Нужны страдания, страдания физические. Попрежнему ходит Плотников в церковь, но всякий раз, проходя по коридору, он все сильнее и сильнее хромает. Надзиратели замечают это: они спрашивают у него о причине хромоты, но он им ничего не говорит. Еще раз идет Плотников в церковь и еле-еле волочит правую ногу.

— Что у тебя с ногой?—спрашивает старший,

— Ничего—сконфуженно отвечает „монах".

— Как ничего, отчего ты хромаешь?

— Так себе.

— Как, так себе? Покажи-ка мне ногу.

— Нет, оставьте, мне так хорошо.

— Нет, брат, так нельзя. Покажи.

Развязана надзирателями веревочка, удерживающая на ноге кот, развернута тряпка, в которую обернута нога, и глазам надзирателей представляется что-то неестественно дикое: на самом сгибе ступни громадная, величиной в ладонь, гноящаяся, вонючая язва. Посредине ее, врезавшись до обнаженных сухожилий, лежит обвязанная вокруг щиколки тоненькая бечевка... Плотников умилостивлял своего бога.

Сделана перевязка, отняты коты, запрещено выходить из номера. Плотников молится у себя, сидя на койке. Ему начинает казаться, что молитва его услышана, что „наследник" уже едет, что он уже здесь. Плотников обернулся к стене и шепчет:

— Ваше высочество, мне только нужно скромное местечко в министерстве народного просвещения. Мне не нужно большого содержания: лишь бы я имел ежедневно несколько более $^1/_3$ фунта мяса, $2^1/_2$ ф. хлеба, 3 неклеванных, немного гороху. Вот и все.

Быстро, быстро шепчет он одно и то же, поматывает головой, улыбается и, наконец, фыркает... Он на секунду сознает свое ужасное положение, и из замученной души вырывается протест:

— Какое вы имеете нравственное право держать меня здесь? Вы не имеете никакого права!—громко вскрикивает он.

Но опять прежний мрак заслоняет рассудок, опять он отворачивается к стене и продолжает свою нескончаемую беседу с наследником...

XVI.

Звонок. Надзиратель подходит к 8-му номеру.

— Что тебе нужно, Боголюбов [1])?

— Что у вас тут так отвратительно воняет?

— Где?

— Да здесь, чорт возьми! Здесь, в коридоре, в моей камере. Открой форточку!

— Она открыта; открыты и вьюшки в печах, и здесь ничем не воняет; тебе это кажется.

— Кажется, мерзавец, кажется! Нет, не кажется, а действительно воняет. Мерзавцы!

У Боголюбова начинаются галлюцинации обоняния; он вступает на путь Бочарова, Донецкого, Соколовского, Плотникова. Таким образом у него начинается помешательство...

Из правой одиночки его переводят в левую; там он начинает доходить до настоящей точки. Он там начинает испытывать крепость нервов своих сожителей. Коппин—новый смотритель—с своей стороны не замедлил доставить к этому случай.

Сегодня суббота. С утра по одиночкам ходит старик цырюльник и бреет заключенных. Очередь дошла до номера, в котором сидит Боголюбов. Отворяется дверь, и, в сопровождении старшего, цырюльник входит в камеру. Боголюбов не обращает на вошедших внимания и, сидя на своей табуретке, о чем-то думает.

— Боголюбов,—обращается к нему старший,—поди бриться.

— Я не хочу бриться. Пошли вон, мерзавцы! Вы хотите меня зарезать, я знаю!

— Не дури, Боголюбов, а садись к свету и дай побрить себя.

— Убирайся к чорту, мерзавец! Я сказал, что не хочу.

— А, так ты не хочешь, так не хочешь! Идите-ка сюда,—обращается старший к торчащим в коридоре надзирателям,—помогите его обрить.

Четверо здоровых тюремщиков, готовых по приказанию на все, входят, по приглашению старшего, в комнату. Старший еще раз приказывает ему позволить обрить себя. Но Боголюбов твердит одно: он не хочет быть зарезанным. В его больном мозгу, еще под влиянием криков Соколовского в правой одиночке, зародилась мысль, что его хотят извести во что бы то ни стало. Ему часто думалось,

---

[1]) Осужден по делу о демонстрации на Казанской площади на 15 лет каторжных работ. Высечен по приказанию Трепова 13 июля 1877 года.

что его хотят отравить, и иногда он отказывался от пищи. Благодаря начавшимся у него галлюцинациям обоняния, ему думалось, что его хотят задушить, заставляя вдыхать какие-то отвратительно пахнущие газы. Цирюльник, пришедший с бритвой, непременно, по его мнению, пришел его зарезать. Ему хочется еще жить; даже теперь, когда он видит желание его извести, ему хочется жить сильнее, чем прежде, когда его не преследовали.

Боголюбов, в сущности, не ошибается, что его хотят извести; извести хотят всех запертых в каторжных одиночках, в петропавловских казематах и т. п., но не такими прямыми, быстро действующими средствами, как яд или бритва. Это слишком прямые, слишком явные средства, которые пока не освящены русским законом и робким молчанием общества. Есть другие, вполне законные, не так несложные, как яд и бритва: казематы Петропавловской крепости—русской Бастилии, европеизированный „дом предварительного заключения", грязные, холодные, сырые этапы и тюрьмы глухой Сибири, каторжные одиночки,—средства, освященные законом и рабским молчанием общества, мало-по-малу, тихо, без шума, незаметно делающие свое дело—изводить по одному своих обитателей...

Но больной мозг помешенного не в состоянии сообразить этого; он знает одно, что его хотят заморить, и этого достаточно. Средства для этой цели все пригодны, и все, напоминающее о возможности достижения цели, немедленно возбуждает его подозрения. Поэтому он и не хочет бриться сегодня, он не хочет добровольно подставлять шею под бритву.

— Боголюбов, я в последний раз говорю, чтобы ты дал себя побрить.

— Пошли вон, палачи! Я не дам себя резать!

— Возьмите его!—обращается старший к вошедшим. Вошедшие надзиратели кидаются на Боголюбова, и начинается борьба. Боголюбов страстно хочет жить; он не дается палачам, он борется с ними. Ах, если бы ему его прежние силы! Как бы он разметал этих безголовых исполнителей приказаний начальства! Но централка оставила свои следы и на упругости мускулов Боголюбова: он борется, он напрягает все усилия, но напрасно... Борьба обессиливает его, а здоровые тюремщики действуют дружно. Они свалили Боголюбова на пол и насели ему на грудь, выворотив предварительно руки; двое ухватили его за голову и держат...

Старик цирюльник дрожит как в лихорадке; его старую солдатскую душу, видавшую на своем веку всю мерзость „николаевской службы", возмущает это зрелище; он не стал бы брить бедного больного, ему жаль его; он готов отказаться от совершения

этой глупой, бессмысленной по отношению к больному, операции, но не может: изба без крыши, больная жена, голодные дети, которым нужен хлеб, стоющий так дорого, заставляют его сделать и не то еще... Он решается. Дрожащими руками намыливает он лицо и голову придушенного Боголюбова, дрожащими руками достает бритву и начинает брить [1]). Неверность руки то тут, то там делает порезы на лице и голове Боголюбова. Наконец, операция кончена. Надзиратели быстро выбегают из комнаты, боясь, чтобы освобожденный из-под их тяжести Боголюбов не ударил их чем-нибудь. Но боязнь их напрасна: Боголюбов, брошенный на пол, продолжает лежать по прежнему. Он несколько очнулся и переживает тяжелые минуты. Перед его умственным взором проходят возмутительные картины недалекого прошлого... Борьба с надзирателями, старавшимися повалить его, вызывает в его памяти нечто подобное, пережитое им раньше. В его памяти рисуется картина пережитого 13-го июля 1877 г. Вот башн-бузук Трепов, накидывающийся на него за неснятие шапки. Вот орава надзирателей, волокущих его перед окна женского отделения в „доме предварительного заключения“ в Петербурге. Вот подобная же борьба с надзирателями, старающимися свалить его. Далее—свист розог и страдания. Страдание не физические, он их не чувствует, а страдания нравственные, страдания человека, достоинство которого поругано самодурством... „правой руки“ Александра II, самодура всероссийского... Боголюбов вновь переживает все это... Нервы его напряжены в высшей степени: его волнуют в одно время и гнев, и злоба на своих палачей, и сознание оскорбленного человеческого достоинства, и сознание своего полного бессилия, и отчаяние... Ах, как он страдает!..

„И неужели никто не положит конца моим истязаниям!“—мелькает в его голове... Он встает, наконец, с полу, ощупывает придавленную больную грудь и начинает ходить по своей конуре. Мысли плохо вяжутся в его расстроенном мозгу, и он только ощущает все те же страдания, что в Петербурге....

О сопротивлении Боголюбова приказаниям начальства исполнительный старший докладывает смотрителю. Коппин, перед вечером, приходит к Боголюбову, чтобы сделать ему должное наставление и выговор. Глупый холуй знать не хочет, чтобы больной мог не слушаться его; он начинает кричать на Боголюбова:

— Как ты смеешь сопротивляться моим приказаниям! Если бы не только брить тебя приказано, а и что-нибудь похуже, то и тогда ты должен повиноваться!—кричит расходившийся полу-идиот.

---

[1]) Бритье бороды и усов производилось всегда чрез две недели. Головы стали брить всем после покушения Мышкина на побег; до этого времени брили лишь тем, которые в чем-либо провинились.

— Пошел, вон, палач! Уйди с глаз, мерзавец!—в свою очередь отзывается раздраженный помешанный.

— А, так ты вот какой! так ты так!—еще пуще орет Коппин. Его холуйское самолюбие оскорблено. Арестант не хочет безмолвно выслушивать его брань. — Взять его в карцер!—обращается уже к надзирателям взбесившийся смотритель...

Боголюбов вытащен из одиночки и брошен в мрачный, вонючий карцер. Карцер своей темнотой, своей атмосферой вызывает в расстроенной памяти помешанного воспоминание о происшедшем после сечения. Его и тогда бросили в подобную же яму. Он вновь переживает те же страдания. Его поруганное человеческое достоинство вопит о мести.

„Неужели же не найдется ни один человек,—думается ему, — который бы уразумел всю глубину мерзости проделанного надо мной! Неужели же все русское общество до того рабски пало, что оно не оскорбилось за самого себя, узнав о подвиге Трепова! Неужели же такое подлое насилие останется безнаказанным? Трепова мало убить!!!“

„Ах, да!—вспоминается ему дальше, — был ведь такой человек, который хотел отомстить палачу-самодуру. То была женщина, русская Шарлотта Кордэ! Нет, ее звали Верой Засулич!.. Да, женщина, Вера Засулич. Где она? Ее тоже хотели задушить в каторге... Мерзавцы, выпустите меня отсюда! Я не хочу здесь задохнуться! Выпустите меня!“—и Боголюбов стал метаться в тесном карцере. Он стучит неистово в дверь и все требует, чтобы его выпустили. Удовлетворенный смотритель находит, что Боголюбова можно переместить из темного карцера в полутемную камеру одиночки. Боголюбов опять в своем номере... Мысль, родившаяся в темном карцере, не покидает больного мозга Боголюбова и продолжает докучать ему, продолжает развиваться дальше....

„Вера Засулич, женщина, привела в исполнение мою мысль! Кто эта женщина? Как она узнала мою мысль? Она украла ее из моей головы!.. Женщина крадет мои мысли, она выкрикивает их на весь мир!.. Я не могу думать про себя.!..“

— Надзиратели, мерзавцы! зачем вы напустили на чердак женщин?! Они крадут мои мысли и кричат об них. Палачи, вы хотите меня свести с ума!.. Чтоб их духу тут не было! Слышите!.. Скажите вашему подлому смотрителю, что я убью его, если он не прогонит этих женщин!..—И бедный больной начинает стучать в дверь, начинает швырять в потолок все попадающееся под руку.

Левая одиночка переживает то же, что переживала правая во время приступов буйства у Бочарова и Соколовского. Левая одиночка тоже протестует, тоже стучит, кричит... Но и ее крики не

слышны за стенами тюрьмы: они не долетают до слуха оставшихся на воле товарищей и заглушаются наручнями, карцером и однообразным, медленным действием одиночного заключения, разрушающего силы и здоровье узников...

XVII.

Грицылевский сменился, на его место приехал новый смотритель, по фамилии Коппин. Он тоже храбрый сподвижник Муравьева-Вешателя, он отставной жандармский офицер. При первом посещении одиночек он говорит каждому жильцу номера:

— Надеюсь, что мы с вами будем жить мирно, в ладу.

— Это от вас будет главным образом зависеть,—получает он всюду в ответ.

Наступает вечер. В коридоре правой одиночки обыкновенная тишина.

— Кха, кха, кха...—слышится из 14-го номера.

Какой ужасный кашель! Бедный Дьяков [1]), как его мучит этот проклятый кашель и как долго.... Бедный больной, он все продолжает кашлять. Режущей болью отзывается этот кашель в груди каждого из жильцов каторжной одиночки. Этот ужасный кашель заставляет страдать сильнее, чем рыдания Бочарова, стук Соколовского, бред Донецкого и Плотникова, ругательства Боголюбова. Умирать медленной, мучительной смертью, сохраняя до последней минуты сознание, должно быть ужасно тяжело...

— Сосед,—стучит Дьяков в 13-й номер,—я отбросил в сторону все книги, все тетради; не нужны они мне больше, скоро отправлюсь к праотцам. Я харкаю кровью, у меня чахотка.

— Вздор вы говорите,—отвечает ему Свитыч,—никакой у вас нет чахотки, а простой прилив крови к легким. Станет теплей, начнете гулять, и все как рукой снимет. Смотрите, еще какими молодцами покатим мы с вами в Сибирь, — умышленно лжет он.

— Ах, как мне тяжело, если бы вы знали! Хоть бы нас куда-нибудь выслали: в Сибирь, на Сахалин, хоть к чорту, лишь бы только вон отсюда. Я чувствую, что умру здесь....

— Не бойтесь, еще поживем с вами: еще таких „делов“ на воле наделаем, что небу жарко станет.

Взрывы 19 ноября и 5 февраля глухо отозвались в централке и в неясных формах, в искаженном виде, достигли слуха обитате-

---

[1]) Дьяков осужден на 10 лет каторжных работ за распространение книг революционного содержания между солдатами гвардейского московского полка (дело Дьякова и Серякова).

лей номеров. Они достигли не только их слуха, они и другим образом отразились на них: сидящим в одиночках строго запретили перестукиваться. Больше уже нечего было воспрещать...

— Сосед, — стучит Дьяков Свитычу,—мне сегодня очень плохо; я начинаю отчаиваться...

— Дьяков,—раздается грубый голос надзирателя,—не стучать! Я доложу смотрителю.

Дьяков перестал. Надзиратель „докладывает“, и больного, полуумирающего Дьякова ведут в карцер...

Студзинский стучит своему соседу.

— Студзинский, ты стучать!.. В карцер пойдешь.

Опять доклад смотрителю, и Студзинский в карцере.

Александров [1]) стучит своему соседу.

— Ах, ты, рожа, как ты смеешь стучать! В карцере не бывал?— как собаки накидываются на Александрова надзиратели.

— Вы, мерзавцы, разве вы не можете говорить хоть сколько-нибудь похоже по-человечески? Что вы лаете на него, как собаки! Докладывайте своему смотрителю, но не смейте лаять,—слышится на рев надзирателя из одного номера.

Надзиратели шушукаются. Один из них идет рапортовать Коппину, который минут через пять появляется в коридоре. Надзиратель отворяет номер Александрова, и смотритель, подойдя к двери, начинает читать нотацию и, в заключение, велит Александрову отправиться в карцер..

В одиночке мертвая тишина... Обитателей номеров бьет лихорадочная дрожь; они напрягают внимание, прислушиваются; они ждут, что будет дальше; они волнуются. Таскание в карцеры за последние дни, из рук вон грубое обращение надзирателей, мелочные придирки, все это начинает пробуждать из апатии, начинает возбуждать притупившуюся чувствительность нервов.

— Добровольно я не пойду в карцер,—отвечает Александров,— тащите меня силой, если хотите, но добровольно не пойду.

— Взять его! — кричит Коппин надзирателям.

Пять человек здоровых палачей кидаются на Александрова и стараются повалить его на пол. Он барахтается, не поддается. Усилия надзирателей делаются дружней; они сваливают обессиленного борьбой Александрова и начинают душить его. Из придавленной груди последнего вырывается громкий стон, инстинктивный зов о помощи... Напряжение нервов одиночки растет с каждой секундой борьбы в номере Александрова; оно достигает высшей точки в момент его крика, и из дверей номеров почти одновре-

---

[1]) Осужден на 10 лет каторжных работ по делу Дьякова и Серякова.

менно несутся звуки частых звонков, стук по дверному железу и крики негодования... Полумертвецы, полузамученные бьют набат... Грозно звучит он в ушах тюремщиков, заставляет дрожать от страха и злости их принципала.

— Сволочь! Скоты!—кричит он из конца коридора.—Вы бунтовать! Я вам покажу, как у меня бунтовать!

— Кто сволочь? Кто скоты? Отвечай, палач! Отвечай, кто сволочь!—несется из разных номеров в ответ на ругань опьяненного от злости смотрителя.

— Иди ко мне сюда, в камеру, подлец, и я тебе покажу, кто сволочь!—кричит Цицианов.

— Ге-ге-ге! ваше сиятельство! Так вы у меня так,—вопит, захлебываясь, Коппин.—Отобрать у них из камер все, не ставить ничего, кроме казенного!—обращается он к надзирателям.—На хлеб и на воду их!

Звонки, стук, крики усиливаются, они начинают принимать все более угрожающий характер... Подлая душонка смотрителя струсила, он опасается какой-нибудь катастрофы; он нагнал полный коридор вооруженных солдат и молча шныряет между ними; подслушивает у каждых дверей: он замечает протестующих. Нервы устают. Протест в четырех стенах начинает утомлять их. Шум в одиночке мало-по-малу начинает смолкать; только изредка слышится то тот, то другой взволнованный голос, но и те умолкают. Александров все-таки на руках унесен в карцер. Долго еще слышны в номерах быстрые, взволнованные шаги обитателей, но и здесь наступает также тишина. Одиночка, измученная непривычной работой нервов, устала и, наконец, спит...

Наступило утро другого дня. Обычное убирание камер сопровождается вынесением из них постелей [1]), книг, письменных принадлежностей. Номера, благодаря присутствию книг имевшие вид жилья разумных людей, пустеют. Чем-то нежилым, какою-то пустотою веет от них. Пустота же чувствуется в сердцах обитателей. Вслед за вчерашним возбуждением наступает реакция: нервы ослабли; жильцы номеров впадают в апатию. Гнетущая тоска, отчаяние овладевает их душами, а время тянется так медленно, так мучительно медленно...

— Гей же вы, хлопці,
Славни молодці,
Чом ви смутни, не веселі!..—

---

[1]) Постели давались по распоряжению смотрителя или губернатора, когда тот признавал больными обитателей одиночек.

раздается вдруг среди мертвой тишины из 13 номера. Песнь льется дальше и звуки ее становятся все страстнее... Это запел Свитыч. Как давно хотелось ему петь! В минуты тяжелой душевной тревоги, в минуты тоски и отчаяния у него часто являлось страстное желание петь. Ему казалось в эти минуты, что в песне он выльет все горе наболевшей души, все накипевшее на сердце слезы. Как страстно ему хотелось петь! Но он знает, что стоит только тихонько замурлыкать, как из коридора раздастся грубый голос надзирателя и оборвет его; и страстное желание душилось и только след его тяжелым камнем ложился на сердце. Он знает, что и теперь надзирательский голос зарычит на него: он слышит уже слова надзирателя, приказывающего ему замолчать, но сегодня он ни на что не обращает внимания. Им овладела тоска отчаяния, он махнул рукой на все прошлое и будущее, он живет или, лучше сказать, прозябает минутой настоящего. Ему стало очень тяжело, и он решился петь. Он поет...

Несколько раз подходит к дверям надзиратель; из грубого тона приказания его слова переходят в просьбу перестать петь, но Свитыч не обращает на него внимания.

Вслед за Свитычем начинает петь и его сосед, жилец 12 номера, Студзинский. Диким голосом затянул он польский гимн „С дымом пожаров“ и продолжает петь: его волнуют те же чувства, что и его соседа.

— Цицианов!—кричит Свитыч,—знаете ли какой курьез!.. Наш Держиморда, ставший, по приказанию Валя, цензором, нашел подозрительными следующие книги: календарь Суворина, „Русскую Старину“, „Руководство к гальванопластике“ и лекции динамики!!! Знаете ли, какими соображениями он руководится, хотя бы по отношению к двум последним книгам? Гальванопластика может послужить, мол, к подделке печатей, стало-быть знать ее не полагается, а динамика представляется ему наукой о динамите, которым взрывают „основы“.

— Ха, ха, ха!—несется из разных номеров.

Одиночка начинает дурить. Из разных номеров раздаются крики. То тот, то другой обитатель сообщает что-нибудь остальным. Необычайный шум и оживление в мертвой до сих пор одиночке кажутся чем-то непонятным. Как будто в машине гашения человеческого рассудка и жизни испортился какой-то механизм, и она не действует. Полузадушенные живы; они не потеряли способности говорить, смеяться...

Давно уже извещенный Коппин стоит в конце коридора, прислушивается к происходящему и ждет, что будет дальше...

В дверном замке 13-го номера поворачивается ключ, и на пороге показывается фигура надзирателя.

— Свитыч, собирайся!

Лежавший неподвижно на койке Свитыч, не сознавая что делает, встает, накидывает на плечи куртку, надевает шапку и выходит в коридор, следом за надзирателем; за ним идут еще двое тюремщиков. В первую минуту, когда позвали Свитыча, он даже не задал себе вопроса: „куда, зачем?“. Чисто механически он встал, оделся и пошел. Только в коридоре мелькнул у него этот вопрос. „Должно быть в карцер“,—порешил он и, злобно стиснув зубы и сжав кулаки, направился за надзирателем к выходной двери, у которой до сих пор стоял Копнин, начавший при приближении Свитыча отступать на двор. Выйдя из одиночки, он повернул направо к прачешной, ведущие надзиратели повернули за ним следом. Свитыч, думая, что Копнин предводительствует, прямо направляется за ним. Струсившему смотрителю кажется, что его хотят бить; он испуганно замахал палкой и кричит:

— Куда вы его ведете? Ведите туда, ведите, болваны!

Ведущие надзиратели круто поворачивают к главному корпусу тюрьмы.

— Зачем туда? — мелькает в голове Свитыча,—ведь в карцере сидит Александров: там нет места. (Он не знал в то время, что карцеров не один).

„Не сечь ли?—мелькает опять в его голове.—Если да, то я буду сопротивляться до тех пор, пока хоть один мускул в моем теле в состоянии будет сокращаться... Хоть один из палачей поплатится мне за это жизнью; я буквально перегрызу горло которому-либо из них!..“

На крыльце „главного корпуса“ пришедших встретил новый надзиратель словами, что „еще не готово“. Мелькнувшая в голове Свитыча мысль находит, кажись, себе подтверждение. Он оглядывается и выбирает более удобную позицию для предстоящей борьбы. В углу он замечает дубовую палку, которую мысленно приспособляет к оружию для защиты, и направляется в ту сторону, чтобы взять ее.

— Впрочем, ведите,—говорит стоящий на крыльце надзиратель пришедшим.

— Куда ты, куда? — кидаются к направляющемуся за палкой тюремщики и, грубо схватив его за плечо, вталкивают его в коридор. Здесь начинается обыск и Свитыча вталкивают в один из карцеров. Тяжелая, вонючая атмосфера сразу охватила вошедшего. У него закружилась голова, ему становится трудно дышать. Он кидается к двери, приникает к ее щелям, думая там найти хоть сколько-нибудь чистого воздуха, потребного для дыхания; напрасно: из дверных щелей несет тем же душным зараженным, вонючим

воздухом из отхожих мест. Голова заключенного кружится, дыхание становится все более затруднительным, кровь приливает к вискам... Он ложится на пол и—о счастье!—чувствует под рукой, из щели в полу, движение холодного воздуха. Узник приникает к полу и жадно пьет струйку холодного, чистого воздуха... Невдалеке что-то зашевелилось.

— Кто там?—инстинктивно спрашивает вновь приведенный в карцер.

— Это я, Александров, а ты кто?

— Я Свитыч.

И последний начинает рассказывать Александрову о случившемся вчера, сегодня. Он слышал в то время, когда за ним запирали дверь карцера, голос Коннина, приказывавшего надзирателям кого-то связать, если будут говорить; но тогда он не понимал, к кому относилось это приказание. Теперь для него ясно, что оно относилось к нему с Александровым. Но они не обращают внимания: они продолжают говорить между собой. Долго сдерживаемая в одиночке речь полилась свободно. Александров рассказывает грустную повесть своего детства в воспитательном доме, свое скитание и каторжный труд на фабриках, свои мытарства по тюрьмам. Свитыч передает также разные эпизоды из своей скитальческой жизни, и время бежит. Прошли сутки. Половина второго дня прошла. Между временными обитателями карцера разговор продолжается.

Крадущимся кошачьим шагом пробирается дежурный надзиратель к дверям карцерного коридора. Приложив к дверной щели ухо, он подслушивает. Улыбка злорадства появляется на его глупом лице, и он слушает еще несколько секунд. Затем, так же осторожно, на цыпочках он отходит прочь.

Разговор в карцере продолжается попрежнему, и разговаривающие не слышат, как загремел засов коридорной двери, как в коридор вошли. Засов у дверей карцера, в котором сидел Свитыч, завизжал, дверь открылась, и появившийся в ней надзиратель обращается к лежащему на полу:

— Выходи!

Машинально повинуется тот и выходит в коридор. Рядом с вызвавшим стоит другой надзиратель, и у него на плече висит целый пук веревок.

— Повернись.—И грубая рука поворачивает за плечо Свитыча.—Давай руки!—и схватывает выше локтя левую руку повернутого.

Другой надзиратель делает на конце веревки петлю и надевает на руку выведенного из карцера. Петля затягивает туго, туго и другой конец веревки, закинутый за другую руку, начинает гулять

от одной к другой, все сильнее и сильнее стягивая вывороченные назад руки Свитыча. Операция кончена, и он вталкивается обратно в карцер. То же проделывают и с Александровым.

— Если будешь разговаривать, Свитыч,—обращается один из уходящих надзирателей,—то я свяжу тебе и ноги: как свинью свяжу и закручу еще закрутку.—Проговорив эту тираду, оба достойные исполнители приказаний достойного смотрителя удаляются.

Связанный по рукам и брошенный опять во мрак карцера—Свитыч ошеломлен: его волнуют различные чувства и мысли, толпящиеся в голове. Физическая боль в вывороченных и туго связанных руках в первые моменты обращает на себя его внимание: он чувствует страдания физические; но вот нравственные страдания заглушают боль, он бьется об стены своей мрачной, душной, тесной клетки, потому что привык ходить, когда думает. Он думал. Оскорбленное человеческое достоинство вопит в нем о мести; он ясно сознает свое бессилие, холодное зверство, с каким над ним проделывали операцию скручивания рук, возмущает его; он чувствует презрение к своим палачам. Это презрение распространяется, захватывает все бо́льший и бо́льший круг; связанному кажется, что он способен презрать все человечество, спокойно допускающее такое насилие над личностью. Но это только одно мгновение, рассудок берет верх. Подвергнутый пытке знает, что его мучители—продукт тех неестественных условий, какие может создавать настоящий социальный строй.

„Не презирать, а бороться надо,—решает он,—бороться до последнего издыхания“...

Встретившая препятствие для свободного движения, кровь приливает к сердцу и заставляет его трепетать, приливает к мозгу, стучит молотом в висках...

Голова начинает кружиться, ноги дрожат, дыхание затруднено...

— Свитыч,—слабым голосом зовет Александров,—Свитыч, постучи, пожалуйста, в дверь, чтобы кто-нибудь пришел, а то я умираю...

— Что с тобой?

— Не знаю, но мне очень дурно.

Свитыч начинает неистово стучать ногой в дверь. Эхо разносит эти звуки по пустому коридору, но никто не является.

— Стучи сильней!

Сильней и сильней, упорно продолжается стук, пока, наконец, надзиратель не услышал его и не подходит к карцерным дверям.

— Отвори Александрова и развяжи его, палач, потому что с ним дурно.

Едва успел надзиратель открыть дверь карцера Александрова, как последний упал, как пласт на пол, потеряв сознание. Подоспевший другой надзиратель поспешно развязывает скрученные руки, но Александров не приходит в чувство. Выбежавший надзиратель приносит ведро воды и, вытащив Александрова в коридор, окачивает ему голову.

Александров пришел в чувство. После сильного напряжения наступила слабость; захлебываясь попавшей в дыхательное горло водой, он зарыдал.

— За что вы меня мучите так ужасно, что я вам сделал?—обращается он сквозь слезы к надзирателям.

— Ну, ну, ничего, брат, успокойся; ведь мы не виноваты: нам приказано, и мы связали тебя. Будет, не плачь. Иди на свое место лучше...

Свитыч напряженно вслушивается в происходящее за его дверьми. Кровь тоже приливает у него к мозгу, стучит в висках. Мысли быстро бегут одна за другой, невозможное кажется ему возможным, дикое теряет свою дикость и становится весьма обыкновенным.

— Позовите мне непременно сейчас смотрителя, — обращается он к надзирателям.

Его тоже выводят из карцера, тоже распутывают веревку, связывающую его вывороченные руки, и идут за смотрителем.

Явился Коппин.

— Г. смотритель, я вас буду просить об одном, что вы легко можете исполнить. Прикажите, пожалуйста, окончательно меня придушить. Это так легко сделать. Никто ничего не будет знать: вы можете донести, что я умер естественной смертью; а между тем вы мне, положительно, окажете благодеяние. Если для вас есть что-либо святое, дорогое, то во имя этого святого, дорогого я умоляю вас исполнить мою просьбу...

Говорящий не сознает всей дикости своей просьбы: она кажется ему такой естественной, такой простой, так легко исполнимой...

— Нет, этого я не могу исполнить, а вот освободить вас из карцера я могу. Отведите его на место,—обращается он к надзирателю и уходит.

— Возьми куртку и шапку,—говорит надзиратель Свитычу.

Темно-фиолетового цвета руки от застоявшейся крови почти неспособны к движению: пальцы с трудом сгибаются, чтобы удержать надеваемую куртку и шапку. В тех местах, где веревка обхватывала руки, в поры кожи выступила кровь...

Выпущенный на другой день Александров призвал в одиночку доктора и показывал ему такие же следы, прося его быть свидетелем истязаний, которым здесь подвергают политических заключенных.

— Не мое дело,—отвечает врач,—если бы вас надо было лечить, я бы лечил, я вам пропишу мазь, а свидетелем быть—не мое дело,—сухо заключил молодой врач со „шкурным инстинктом“...

Через несколько дней была получена бумага от Валя; эту бумагу предъявляли „бунтовавшим“. В ней было сказано приблизительно следующее: „За те беспорядки, которые произошли в одиночке 16 и 17 февраля, Александрова, Свитыча и других следовало бы подвергнуть наказанию плетьми. Но губернатор, на этот раз, ограничивается тем, что предписывает заковать их в кандалы и лишить переписки с родными и письменных принадлежностей. Это наказание может быть отменено по распоряжению смотрителя, когда он найдет нужным“.

Перед заковкой Свитыч обратился к смотрителю с заявлением, что заковать его по обеим ногам нельзя, потому что от кандалов на простреленной ноге может образоваться костоед. Ему заковывают только одну, здоровую ногу,—а все-таки заковали...

XVIII.

Волнение после „бунта“ улеглось. Жизнь одиночки начинает входить в обычную колею. К хлебу и воде просто прибавилась вода с капустой и вода с крупой. Книги возвращены.

Одиночка продолжает свое незаметное дело: разрушает организмы своих обитателей... Мучительный кашель из 14 номера, после четырех суток пребывания его жильца в карцере, слышен все чаще и чаще, все продолжительнее. Одиночка давит. Щемящая тоска и апатия овладевают опять мало-по-малу всеми жильцами номеров. Только жилец 7-го номера возбужден. Он быстро бегает по своей комнатке и что-то замышляет. Да, он замышляет бежать. Шатающаяся половица в его номере уже давно обратила на себя его внимание, и он хочет воспользоваться ею. Он задумал сделать подкоп в тюремный двор.

Наступила ночь. Одиночка погрузилась в сон.

Спят жильцы номеров, спит, мерно похрапывая, в коридоре сидящий дежурный... Мышкин осторожно слезает с койки, из верхнего платья делает подобие чучела, покрывает его одеялом, а сам, приподняв половицу, опускается под пол. Посредством обломка гвоздя, осколка лучины, а то и голыми пальцами ковыряет он мерзлую землю. Работа медленно подвигается. Спину ломит, пот градом катится по его лицу, уставшие руки просят отдыха, но воодушевленная мысль увеличивает силу его энергии. Как крот, тихонько, осторожно роется он в темноте. Каждую ночь проделы-

вает он то же... Наступившая весна оттаяла землю, и работа подвигается быстрее. Он дорылся до фундамента, прошел под ним, начинает рыться вверх. Он оставляет слой земли приблизительно толщиной в аршин, над местом, где должен быть выход. Он ждет удобного момента. Все у него приготовлено: доставши где-то лист бумаги, он написал себе паспорт, нарисовал в надлежащем месте печать: надерганная из щетки шерсть и нитки из казенного белья послужили ему материалом для парика, прикрывшего его бритую голову. У него все готово, хоть сейчас полезай. Он знает, что легко может быть заколот ходящим тут часовым, но он решился. Лучше все-таки быстрая смерть, чем мучительная, медленная. Да при том, это вопрос—смерть ли. Он думал бежать на пасху, рассчитывая на меньшую бдительность со стороны подгулявших надзирателей.

Страстная пятница. Не в урочный час, в полдень, Мышкину понадобилось кое-что спрятать в свое подземелье. Он полез туда. Ходивший по коридору дежурный совершенно случайно заглянул в дверное стеклышко как раз в тот момент, когда Мышкин возвращается из своей экскурсии в преисподнюю. Испуганный надзиратель бежит к старшему. Старший докладывает смотрителю, и пошла суматоха: обыски, шарение, нюхание... Сделанный подкоп засыпан: Мышкин посажен в карцер, а оттуда переведен в левую одиночку. Обитателей номеров разместили в ином порядке, чем прежде.

В левой одиночке Мышкин лишен книг. Товарищи кое-как ухитряются, вырывая по листкам из книг, доставлять ему материал для чтения. Но этого недостаточно. Тоска и апатия начинают овладевать и им. Надежда на свободу исчезла. Он сознает все с большей и большей ясностью безвыходность своего положения...

„Неужели нет никакого выхода? — спрашивает он себя. — Неужели я должен медленно умирать и видеть, как умираю? Это ужасно!“

Выход должен быть найден. — Усиленно работает ослабевший мозг. Усиленно ищет он этого выхода.

„Неужели только один выход — быстрая смерть посредством самоубийства? Так бесполезно умереть—глупо. Коли умирать, то сделать свою смерть возможно продуктивной“...

Выход найден. После многих бессонных ночей отыскан способ умереть продуктивно. Мышкин решился. Нужно сделать преступление, влекущее за собой смертную казнь, и на суде рассказать все ужасы, которые переносят „заживо погребенные“...

Мышкин вдруг стал усердно посещать церковь. Всякое воскресенье, всякий праздник он просится туда. Может-быть он тоже замаливает грехи, подобно Плотникову? Нет, он ждет в церковь Коннина, который почему-то в последнее время не показывается.

Какой-то царский день. Мышкин просится в церковь. Его ведут. Сегодня, по его расчетам, Коппин обязательно должен быть в церкви, и сегодня Мышкин приведет, наконец, в исполнение свою заветную мысль. Он ждет, он не ошибся. В мундире, с орденами за разные подвиги душения людей и высасывания человеческой крови, появляется Коппин в церкви. Он слушает всю обедню, солидно крестится и, как фарисей, благодарит своего бога за то, что он не такой, как эта масса каторжников, наполняющих церковь. Перед многолетием, когда поп вынес крест, Коппин подходит, чтобы приложиться. Вплотную, следом за ним идет Мышкин, по-видимому, желающий тоже облобызать крест. Коппин перекрестился с расстановкой и прикладывается губами ко кресту. Он приложился и поворачивается, чтобы выходить из церкви. Не успел он повернуться лицом к Мышкину, стоявшему позади его, как „вот тебе, подлец!“—вскрикивает Мышкин, и звонкая пощечина, эхо которой раздается по всей церкви, зарумянила лицо смотрителя... Смотритель ошеломлен; он взбешен. В воздухе взвивается свинцовый набалдашник палки, с которой повсюду ходит Коппин, и со всего размаха опускается на бритую голову Мышкина. Тот падает, теряя сознание, а рассвирепевший смотритель продолжает осыпать его ударами, ругаясь непечатными словами на всю церковь.

Стоявшие в отдалении надзиратели кидаются на помощь своему повелителю и перед алтарем бога всепрощения и христианской любви начинается бойня: надзиратели бьют ногами по лицу лежащего без движения Мышкина. Остервенение их доходит до того, что они, буквально, начинают плясать у него на груди, притопывая каблуками...

Избитого, окровавленного, потерявшего сознание, несчастного волокут за ноги на крыльцо и отсюда, набив кандалы ножные и ручные, тащат в карцер...

Решаясь дать пощечину, Мышкин рассчитывал на смертную казнь. На суде он думал рассказать мартиролог Бочарова, Соколовского, Допецкого, Плотникова и всех сидящих в одиночных номерах централки. Расчет его оказался ошибочным. Не желая затевать дела в виду „новых веяний“, высшая администрация решилась взглянуть на Мышкина, как на помешенного, а на пощечину Коппину, как на острый припадок умопомешательства. Из карцера, скованного по рукам и ногам, Мышкина увезли в Новосорисоглебскую центральную тюрьму.

XIX.

„Новая эра!“, „новые веяния!“—кричит на все лады „дом терпимости“; как метко назвал Щедрин нашу легальную прессу. Наступила „новая эра“, „медовый месяц либерализма“. „Новые веяния“ коснулись и обитателей каторжных одиночек. Возвратившийся из Харькова накануне 1-го мая смотритель отдает „одиночным старшим“ приказание пускать с завтрашнего дня на прогулку по два человека вместе. Встрепенулись замученные сердца жильцов одиночек. Радужные надежды расцвели в душах заключенных.

С радостными улыбками встречают они друг друга в коридоре, при выходе на прогулку. С сияющими лицами ходят они по дорожкам тюремного сада и рассказывают, как давнишний, страшный сон, о выстраданном ими. Они знакомятся друг с другом. Они сидят столько лет, может-быть, рядом и не видели лица один у другого. Они ликуют вместе с расцветающей природой 1-го мая. По дорожке сада гуляет Свитыч со своим бывшим соседом Дьяковым. Оба худые, бледные; но у первого вид гораздо бодрее, он должно быть не совсем еще надломился. Другой имеет вполне вид старика, хотя ему только 25 лет. На осунувшемся, желтом лице его видна печать страшной болезни: ярким, чахоточным румянцем горят его впалые щеки, глаза его блестят лихорадочным блеском... Походка у него совсем старческая: ходит он как-то сгорбившись, волоча ноги. Они о чем-то говорят.

Яркое майское солнышко весело глядит с чистого голубого неба на оживающую землю и ласкает и нежит своими мягкими лучами свою любимицу. Весело играет оно в молодых листьях развесистого вяза и сквозь них белеющими кругами рисует причудливые, неуловимые узоры по земле... Сирень в полном цвету, наполняет сладким запахом воздух; желтая рябина расцвела в таком изобилии, что за цветками не видать листьев. Проснувшиеся пчелы покрывают целым роем метелки сирени и кисти рябины. Весело жужжа, они перелетают с одного цветочка на другой и, собирая нектар, помогают оплодотворению растений. Весело порхая, щебечут воробьи. Весело и в наболевших сердцах полузамученных. Они мечтают о возможности быть высланными на поселение.

— Что же вы будете делать в Сибири? — спрашивает Свитыч Дьякова.

— Если бы мои силы, мое здоровье позволили, я занялся бы земледелием, но так как это для меня невозможно, я думаю заняться литературной работой и отчасти педагогией.

— Да, и это недурно. Я также предпочитаю, во всяком случае земледелие другим занятиям, как более дающее возможности сблизиться с народом, изучать его...

Целый час длится разговор в таком же роде. Они говорят о своих симпатиях к народу, о причинах появления этих симпатий и т. п.

— Давайте-ка, Свитыч, заниматься на прогулках английским языком. Для меня очень затруднительно произношение, а вам, как знающему уже два новых языка, оно, конечно, легче.

Согласие на занятие английским языком дано, но занятия не осуществились. Прогулка 11 мая была последнею прогулкой по-двое. С этого дня опять начались прежние одиночные гулянья. По-двое гулять разрешил разлиберальничавшийся вице-губернатор, оставшийся, после смены Валя и до приезда нового губернатора, „хозяином губернии“. С приездом генерала Грессера либерализм вице-губернатора поджал хвост.

Запавшая в сердца узников надежда на отправку в Сибирь после прекращения прогулок по-двое стала слабеть. Но вот Панина [1]), Плотникова, Донецкого, как окончивших срок—первый каторжных работ, а последние—каторжных работ и сумасшествия в централке—куда-то увезли: надо думать, в Сибирь. Ослабевшая надежда опять начинает оживать...

Но прошло жаркое лето, а больше никого не увозят из центральных каторжных одиночек. Надежда, начавшая оживать в измученных сердцах страдальцев, опять угасает... Опять гнетет одиночка своих обитателей и продолжает свое дело разрушения...

Наступили холодные дни дождливой осени. Еще чаще, еще мучительней становится кашель Дьякова: силы его с каждым днем падают, жизнь угасает. Он уже не в состоянии гулять. Только в ясные дни его под руки выводят на двор уголовные арестанты, прислуживающие в коридоре одиночки, сажают его на крылечке бани и он, съежившись, сидит, тоскливо глядя на синеющий вдали лес, в котором бы ему так хотелось подышать воздухом свободы...

Ночь. Мелкий дождь уныло барабанит в оконные стекла одиночки и, как бы дразнясь, падает за воротник шинели выглядывающего по временам из будки часового... Правая одиночка спит... спит в 6 номере и Свитыч, но сон его тревожен: он издали видел сегодня Дьякова, сидящего на крылечке бани, ему и во сне грезится эта сгорбленная, исстрадавшаяся фигура. Сквозь сон слышит он неясные звуки, похожие на рыдания. Он просыпается, и на яву слышны те же звуки. Кто-то горько рыдает.

---

[1]) Осужден на 5 лет каторжных работ по делу Долгушина.

— Надзиратель, кто это плачет?

— Дьяков.

— Чего он плачет?

— А кто его знает.

— Что же ты его не спросишь? Как тебе не стыдно так равнодушно относиться к больному человеку? Ступай, узнай у него; может быть ему что-нибудь нужно.

Пристыженный надзиратель подошел к двери 3-го номера, где теперь помещается Дьяков, и расспрашивает последнего о причине его рыданий. Больной страдалец хочет есть и не имеет сил встать и взять что ему нужно; возле него нет никого, кто бы сделал это. И он плачет, горько плачет о своем бессилии, о своей рано угасающей, не изжитой, молодой жизни... Крупными каплями сбегают по его впалым щекам слезы.... Он сидит на постели, ломая свои иссохшие, обессиленные молодые руки... Горькое сознание близкой смерти заставляет надрываться его изболевшую грудь... Жгучей болью отзываются эти рыдания в измученном сердце не спящего Свитыча. След их так глубок, что не затрется ничем никогда...

Разбуженный старший достал ключи, отворил номер Дьякова и дал ему поесть. Больной выпил рюмку красного вина и, несколько успокоенный, уснул.

Полдень другого дня. Старший собирается отнести к смотрителю, для просмотра, книги, выбранные заключенными для чтения. Свитыч слышит это; он подзывает к себе старшего и просит его обождать пять минут, так как он сейчас напишет записку смотрителю. Он сел и быстро пишет: „Г. смотритель. Дни Дьякова сочтены. Возле него нет никого, не только близкого, родного, дорогого, но даже постороннего человека. Тяжело умирать молодым, но еще тяжелей умирать в каторжной одиночке одному, не имея при себе никого, кто бы мог хоть сколько-нибудь облегчить тяжкие страдания, хоть на минуту заглушить сознание близкой смерти. Если в вас есть хоть искра сострадания и человечности, вы поймете мою покорнейшую просьбу и не откажете в ней. Я прошу вас позволить мне, хоть днем, ходить к Дьякову. Я буду читать ему, буду беседовать с ним и постараюсь хотя немного облегчить его последние минуты. Я думаю, что даже ваше начальство ничего не будет иметь против этого. Если же вы, несмотря на мою просьбу, опасаетесь выговора начальства, то я прошу вас немедленно написать губернатору; вы можете послать ему и мою записку. Авось мы еще успеем получить ответ, пока не будет поздно. В. Свитыч“.

Записка кончена. Свитыч опять зовет надзирателя и отдает ему ее.

— Попроси только смотрителя отвечать мне на нее как можно скорее,—говорит он старшему.

Возвратившийся старший заявляет, что смотритель обещал сам зайти к Свитычу вечером. Свитыч надеется, что смотритель придет, он надеется, что тот не откажется исполнить его просьбу. Он помнит, что тогда, в карцере, ему показалось, будто на глазах смотрителя блеснули слезы в то время, когда он просил придушить его. Показалось? А может быть он действительно прослезился. Может быть. Ведь говорят же, что крокодил плачет. Почему бы и не плакать Коппину...

Вечер прошел, а смотрителя не было. Но Свитыч надеется на завтрашний день, и с этой надеждой спокойно засыпает. Он слышал, что с вечера Дьяков долго с кем-то говорил; он думал, что это, вероятно, надзиратель, по возможности, хочет услужить больному. Он не знал действительности. По получении записки Свитыча Коппин велел взять на ночь к Дьякову уголовного арестанта, старика. Вот с этим-то стариком и беседовал больной. Старик рассказывал длинную повесть своего мужицкого горя. Молодым парнем он бежал от помещика. Через четыре года был пойман, высечен и сослан в Сибирь. Он бежал из Сибири, бродяжил по тайге, пробирался в Россию, был ловим, наказываем, опять ссылаем в Сибирь, и так без конца. В одно из своих странствований по Сибири он убил преследовавшего его станового, за что попал на каторгу. Он бежал оттуда в Россию, где его опять поймали, „постегали“ и засадили в централку.

Слушая повесть мужицкого горя, убаюканный мерными, монотонными звуками голоса рассказчика, больной страдалец уснул.

Спит одиночка. Мерно похрапывает в коридоре дежурный надзиратель, задремал и старик-рассказчик. В оконные стекла опять уныло барабанит дождь. В одиночке царит тишина, нарушаемая только чирикапием сверчка, поющего свою однообразную, скучную для людей песенку любви... Спит и Дьяков и во сне тоже видит мужицкое горе.

Вот он, маленьким бурсаком, в рождественский праздник, ходит с отцом славить по пригородной деревне. Вот они зашли в грязную, курную избу. Перед печкой, с ухватом в руках, возится не старая еще баба, одетая в какие-то грязные лохмотья. Из-под тряпки, которой повязана ее голова, выбилась прядь черных волос и, падая на глаза, мешает ей хорошо разглядеть, что делается в печке. По ее разгоревшемуся от печного пламени лбу струится пот. В люльке, привешенной к потолку избы, в грязных, грубых, заскорузлых тряпках барахтается крошечное существо; оно плачет, ему хочется есть. Матери некогда грудью покормить крошку, да и ничего там не найти ей: молока нет, потому что не из чего ему взяться. Крик в люльке усиливается, невытерпевшая мать бросает

ухват, берет со стола кусочек колочего, с мякиной, хлеба, пожевав и посолив, завертывает его в тряпицу, приготовляя соску, которую сует в рот беспокойному сыну. На глазах бабы навернулись материнские, мужицкие слезы. Маленькое, детское сердечко бурсака инстинктивно сжимается, и при виде этой безотрадной картины он тихонько вынимает из мешка, в который складывает сбор за молебен, калачик и кладет на лавку. Отец-дьякон, получивши за молебен медный пятак, уходит с сыном дальше... Маленький бурсак с детских лет видит мужицкое горе, понимает его...

Дождь перестал. Ручейки дождевой воды, весело бежавшие по двору, суживаются, журчат все тише, тише, пока не иссякнут совсем, поглощенные жадной землей.

И ручеек угасающей жизни Дьякова журчит все тише и тише, пока не иссякнет, поглощенный никогда не иссякающей жизнью вселенной...

Дьяков спит. Он видит во сне уже другие картины прошлого.

Он в семинарии. Покончив с заглушающей ум зубрежкой латинских неправильных глаголов, жадно читает он Некрасова.

Доля ты русская, долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать...

„Да, тяжела ты, доля крестьянки, тяжела ты, доля русского мужика. Я понимаю ее; я все силы, всю жизнь посвящу облегчению этой тяжелой доли“,—думается ему.

Он не кончает семинарии, он не хочет быть попом, потому что этой профессией нельзя облегчить тяжелой мужицкой доли, разве можно сделать ее только еще тяжелей. Он едет в Петербург, он студент. Жадно читает он книги, из которых учится узнавать всю необъятность русского мужицкого горя. Он учится, как пособить этому горю. Он знает это, понимает, как пособить, но трудно, трудно это. Он прислушивается к разговорам товарищей, сходится с ними и работает вместе с ними.

Вот он в казармах Московского полка. Красивые гвардейцы собрались вокруг него и жадно слушают слово правды. Их головы еще не успела забить муштра царской службы: они слушают и понимают своего учителя...

— Где ваш учитель, московцы?! Помните ли вы его? Его замученные кости спят вечным сном в одиночной могиле каторжного кладбища...

Сон больного мученика становится тревожным. Ему грезятся уже мрачные картины недалекого прошлого: арест, тюрьмы, суд, эшафот, централка, убивающая его жизнь...

Как больно ноет грудь! Больной проснулся. От затрудненного дыхания на лбу его выступил холодный пот... „Воздуху надо“. Но воздуху уже некуда проникать: разложившиеся легкие не расширяются. Он понимает, что смерть тут. Вместо дыхания из гортани вылетают хриплые, свистящие звуки. „Воздуху“—мелькает в его мозгу, и он теряет сознание... Еще один, другой вздох, по телу пробегает предсмертная судорога, оно как-то неестественно сгибается и... человека не стало...

Проснувшийся старик видит это; он крестится и подходит к постели умершего, закрывает ему открытые, мутные глаза с несокращающимися от света принесенной лампы зрачками, складывает на груди измученной руки...

Дурные инстинкты, результат пережитого, просыпаются в душе старика. Он осторожно подходит к трупу и начинает что-то шарить на нем. Его маленькая фигурка сильно напоминает фигуру мародера на поле сражения. Маленькие, ушедшие вглубь глазки быстро бегают, оглядываясь на дверь. Старик что-то нащупал. Он снимает с шеи трупа маленький, серебряный образок — благословение старухи-матери, и быстро прячет за пазуху. Он еще продолжает шарить, думая найти деньги. Но напрасно: денег нет у жильцов каторжной одиночки. Он отошел от трупа и подходит к столу. Голод, царствующий в центральной тюрьме, направил его сюда. Он жадно хватает недоеденные куски мяса, хлеба, запихивает их себе в рот и быстро шевелит беззубыми челюстями. Оставшиеся куски сахара следуют за образком за пазуху. Больше взять нечего... Старик подходит осторожно к двери и слегка стучит в нее. Проснувшийся надзиратель заглядывает в дверное стеклышко.

— Чего тебе, старик?—спрашивает он.

— Политический-то помер.

— Ну, так царствие ему небесное. Все равно до утра не вынесем.

Утро скоро наступило. Еще когда спали остальные обитатели номеров, двое уголовных оттащили труп политического в мертвецкую, где он оставался до вечера. Вечером рабочий, вывозящий нечистоты из тюрьмы, на той же телеге, на которой он возит сор, вывез и труп Дьякова...

Все утро Свитыч ждет Коннина. Свитыч работает в мастерской и прислушивается к каждому звуку в коридоре; он узнает, наконец, шаги смотрителя.

— Здравствуйте,—приветствует Свитыча входящий смотритель.

— Ну-с, я получил вашу записку вчера...

— Ну, и что же, вы разрешаете?—спрашивает ничего не знающий Свитыч.

— Не могу, но..

— Если не можете сами, то хоть напишите губернатору,—перебивает Свитыч Коннина.

— Не могу, потому что Дьяков приказал долго жить.

Чтобы не исполнять просьбы Свитыча, смотритель выждал, пока умер Дьяков. Таким образом остались, повидимому, „и волки сыты, и овцы целы“...

XX.

Итак, Бочаров умер, предварительно сошедши с ума. Дьяков умер. Этих двух замучила до смерти каторжная одиночка. Плотников, Соколовский, Боголюбов и Донецкий отвезены в лечебницу для душевных больных. Там, вероятно, с ними покончат. Остальные обитатели каторжных одиночек отправлены в Сибирь, но не на поселение, а в каторгу, домучиваться в Карийской тюрьме. И там можно заканчивать дело каторжной одиночки. Следовавшее зачислить, по российским законам, пребывание вне тюрьмы бывшим в централках, для политических отменено. И на Каре засадят централистов в душную, тесную тюрьму, которая добьет их. Но и до Кары еще много условий, благоприятных для той же цели: несколько месяцев пути [1]) во всякую погоду, грязные, сырые этапы и тюрьмы, прижимки и придирки администрации понемногу будут доделывать недоделанное централкой... Иркутская тюрьма блистательно оправдала свое назначение... В зазимовавшей в ней партии политических мало-по-малу заболевают бывшие централисты. 21-го декабря одним бывшим обитателем каторжной одиночки стало меньше: умер Дмоховский [2])... Постоянные столкновения с администрацией [3]), лишение свиданий с любимой сестрой, последовавшей за ним в Сибирь, гигиенические условия пути и содержание в тесной, сырой, пропитанной миазмами иркутской тюрьме доконали этого, повидимому [4]), здорового человека, выдержавшего 7-милетнее заключение. Он умер, как жил. Его последние слова были: „я умираю с глубоким уважением ко всему хорошему и презрением к дурному“. Мир праху твоему, дорогой товарищ... Мартиролог жертв русского

---

[1]) Около 8.000 верст с лишком, при этапном хождении верст по 25 в день.

[2]) Осужден на 10 лет каторжных работ по делу Долгушина. Дмоховский самый старый „централист“, он первый был привезен в централку.

[3]) Дмоховский в пути, по болезни, был артельным старостой.

[4]) Вскрытие трупа показало, кроме патологических признаков болезни, бывшей последней причиной смерти (перен-эндокардит), еще следы старых болезней, зародившихся под влиянием централки, вообще полное истощение организма, как следствие долговременного пребывания в тюрьме.

правительства увеличился еще на одно новое имя... Будущее оставшихся в живых тоже ясно: их домучат в дальнейшем пути, на Каре.

Из глубины Сибири до тебя не достигнут, читатель, их стоны. „Основам“ безопасней, если обитатели одиночек будут в Сибири: недолетающие стоны не вызовут мести в оставшихся на воле друзьях...

Каторжные центральные одиночки, повидимому, уничтожены. Но это только повидимому. Казематы Петропавловской крепости приспособлены к каторжным одиночкам. Крепостные стены толсты, толщина их заменяет тысячеверстные расстояния Сибири, так что до тебя, читатель, не достигнут стоны и этих жертв русского царя, замучиваемых в казематах. В одном из таких казематов замучен, года четыре тому назад, Нечаев; о нем с этого времени ничего не слышно...

Осужденные по процессу 16-ти (террористы), в продолжение семи месяцев после суда, были посажены на „каторжное положение“ в казематах Петропавловки. Их лишили книг, стали кормить какими-то помоями и абсолютно изолировали друг от друга. Следствия таких условий жизни проявились довольно ясно уже после семи месяцев: в Сибирь, на каторгу, попали лишь Зунделевич, Бух, Зубковский, Кобылянский, Мартыновский, Цукерман и Тихонов. Последнего, совершенно больного, обессиленного, заковали в кандалы и на руках вынесли из каземата в карету. На руках его переносили из вагона в вагон, с телеги на телегу, от слабости он не мог ходить...

Ширяев и Окладский не попали в Сибирь: их участь, как слышно, одинакова с участью Бочарова, Плотникова и других, о которых мы говорили в нашем рассказе [1]). Сумасшедших не отправляют в Сибирь: они могут доканчивать свои сроки сумасшествия смертью в казематах Петропавловской крепости, в соборе которой покоится тот, кому мы сказали наше надгробное слово....

---

[1]) Ширяев умер в Алексеевском равелине в 1881 году, Окладский после суда изменил и стал предателем, в награду за предательство получил помилование и стал секретным сотрудником департамента полиции.

II.

Заживо погребенные.

(К русскому обществу от политических каторжников).

Правительство, несмотря на обнаруживавшиеся по временам проявления пропаганды преступного свойства, с особенным долготерпением направляло все подлежащие судебному преследованию дела о пропагандистах путем, указанным законом, воздерживаясь от принятия каких-либо особых, чрезвычайных мер.

(Из „Правительственного Вестника“ от 20 августа 1878 г).

Жалкое, малодушное, позорно-трусливое, холопски-пресмыкающееся русское общество! Ты аплодируешь красноречивому адвокату, когда он рисует перед тобою картину нравственных страданий развитого человека под Треповскими розгами; на твоих глазах выступает при этом даже какая-то влага, похожая на слезы; ты не только оправдываешь, но и прославляешь смелую девушку, которая самоотверженно решилась отмстить негодяю-сановнику за варварскую расправу с одним из мучеников за правду; и в то же время ты, презренное общество, продолжаешь допускать безнаказанное совершение гораздо более возмутительных насилий: ты допускаешь царских опричников бесчеловечно издеваться над твоими детьми, насильно вырванными из твоей среды и доводимыми в тюремных казематах до совершенного истощения, до сумасшествия, до могилы. Ты в последнее время любило кричать о своей гуманности, о готовности вступиться за человеческое достоинство, попираемое грубою силою. Ну, так иди же за нами сюда, в Новобелгородскую центральную тюрьму и полюбуйся живыми картинами, созданными твоею трусостью, бездушием, пошлостью. Загляни вот в эти конуры, предназначенные для политических арестантов!

Остановимся хоть у этой двери. За нею, в полумраке (окна вполовину замазаны черной краской), на досках, покрытых тощим войлоком, ты видишь бледное, исхудалое существо, протомившееся уже несколько лет в строгом одиночном заключении. Многолетнее одиночество, при всевозможных лишениях и оскорблениях, без живой беседы с людьми, без физического труда, без сносной пищи, даже без порядочной книги, где бы можно было прочесть правдивое, выливавшееся из честной груди слово,—знаешь ли ты, общество, что это за жизнь?.. Горе, страдания просятся наружу из переполненной груди заточника: бедняга встает с своего жосткого ложа и, прохаживаясь по камере, слабым голосом декламирует стихи любимого поэта. Но... вдруг дверь с шумом отворяется, входит смотритель.— Как ты смеешь декламировать! Здесь должна быть невозмутимая тишина. Я тебя закую!!—Я уже пробыл в кандалах „испытуемый“ срок, и потому вы, смотритель, не имеете законного права заковать меня. — Так ты еще рассуждать!!! — Притом я болен: спросите у доктора.—Взять его, заковать! Я тебя проучу! Ты будешь знать, как рассуждать со мной!..—В одну минуту бедняга выволокли из камеры и больного (действительно непритворно больного) заковали в кандалы [1]).

Ну что, общество, как тебе нравится этот веселенький пейзажик?

А вот другая сцена в том же роде [2]): в июньские сумерки, где-то вдали, за тюремной стеной, раздалась крестьянская песня. Эта песня нашла себе отклик в изболевшей душе заживо-погребенного человека. Он на минуту забылся, и—совершил тяжкое преступление: запел. На кладбище, в гробу прозвучал живой голос!.. Всемогущий властитель тюремного царства, оповещенный об этом чрезвычайном событии, является лично на место преступления. Виновник давно уже замолк и лежал „в постели“ (т.-е. на куске войлока без одеяла и подушки). Встал. — Тебе кто дозволил петь? А? Разве ты забыл, кто ты такой и где ты? Так я, я тебе напомню!! — Растерявшийся заключенный не успел ответить еще ни одного слова, как поднятый начальнический кулак уже метил в его зубы. Он инстинктивно отшатнулся назад, и удар пришелся в подбородок. Затем, в виде приправы, произнесено или, лучше сказать, выкричано несколько подобающих наставлений.

— Фи! Мордобитие! Это уже совсем неприлично!—брюзгливо произносишь ты, мой спутник.

Ну, отвернемся, благовоспитанное, приличное общество, и подойдем к другой камере.

---

[1]). Это случилось с Плотниковым, в феврале 1878 г.

[2]) С Александровым, в июне 1877 г.

Но и отсюда слышится знакомый грубый голос:—Ты как смеешь буянить? — Да я, г. смотритель, не буяню. — А как ты обращаешься с надзирателем? Разве ты смеешь надзирателю говорить ты? Ты знаешь, что он твой непосредственный начальник? Ты обязан относиться к нему с по-л-ным благоговением и уважением. Слышишь? С по-л-ным благоговением. Ты не должен забывать, что ты не человек, а каторжник; не на воле, а на каторге. Ты не имеешь права требовать, чтобы к тебе относились, как к человеку. Если бы перед тобою поставили палку и приказали слушаться, то ты должен исполнить это беспрекословно. Смотри! Если только... ты... еще... раз позволишь себе такие выходки, то (здесь смотритель задыхается от злости и гнева) я тебе шкуру всю сдеру! Понимаешь? С головы до пяток, всю, всю шкуру спущу! Помни, помни это! Всю шкуру!

Вы содрогаетесь от этих зверских угроз и хотите узнать, за какую важную провинность излился на голову несчастного политического грешника весь этот зловонный поток полицейской брани? Страшно даже выговорить: он, каторжник [1]), до сих пор еще не привык относиться с благоговением к солдату-надзирателю и сегодня на вопрос его, самого *бутаря*: „что тебе надо?“—дерзнул сказать (уж не обмолвился ли он): „дай воды“ (а следует, разумеется: „дайте“ или „позвольте)“. Я не отрицаю: очень может быть, что с государственно-полицейской точки зрения это весьма тяжкий проступок; но если бы вы, российские обыватели, слышали, каким тоном, с каким презрением или, лучше сказать, ломаньем, которому хотят придать вид презрения, предлагается надзирателем этот вопрос: „чего тебе?“ или просто „че-го?“; то, может быть, вы признали стоящего перед вами преступника заслуживающим некоторого снисхождения.

— Нет,—возражает строгий, беспристрастный обыватель,—здесь не может быть и помину ни о малейшем снисхождении, потому что правила, утвержденные самим его превосходительством, г. министром, гласят, что надзиратели должны требовать от арестантов скромного поведения и самого почтительного отношения к себе, в особенности не дозволять им сидеть перед собою, сами должны говорить с ними не иначе, как на ты. Смотритель, ревностно следя за исполнением этих правил, наделяет даже пощечинами надзирателей, замеченных в „послаблении арестантам“.

Итак, грубое обращение надзирателя с заключенными есть только рачительное, достойное похвал выполнение подчиненными начальнических приказаний!..

---

[1]) Этот случай был с Герасимовым.

Пожалуй, вы спросите: может быть, приведенная выше сцена была только минутной вспышкою человека, неспособного сдерживать себя, благодаря давнишнему начальствованию над бесправными людьми? Нет, вот он, достойный начальник, уже успокоился, и—послушайте: он беззастенчиво объявляет соседям выруганного им арестанта, что он потому именно распекал так громко и так долго „невежу", что хотел проучить не его одного, а всех.—Для меня убийца, разбойник или политический преступник—все равно,—поясняет смотритель.—Но, — возражают политические,—в таком случае, почему же вы подвергаете нас бо́льшим стеснениям, чем уголовных каторжников? Почему нам не разрешается то, чем пользуются они, как, напр., содержание в общих камерах, совместная работа?.. — Этого нельзя, не разрешено, опасно. — А почему, несмотря на очевидную правоту нашу в некоторых столкновениях с надзирателями, вы еще ни разу не признали нас правыми? — Так и впредь будет, и должно быть! Ведь вы каторжники, лишенные всех прав! Если я хоть раз признаю надзирателя неправым, то уроню его авторитет перед каторжниками. Этого нельзя допустить!..

Как вам нравится подобное, нахально-откровенное сознание? Вот он, этот Тит Титыч в полицейском мундире, увидел в одиночной камере на столе учебник французского языка (не контрабандный, а дозволенный) и отбирает его, приговаривая:—Ты, должно быть, эмигрировать собираешься, потому-то и понадобился тебе иностранный язык.—Вы улыбаетесь! Не правда-ли—смешно? Да, вы улыбнулись и хотите дальше итти.

Нет, остановитесь на минуту и поразмыслите: каково жить людям, отданным „на правах рабов" в полное владение, распоряжение и пользование подобного самодура? Спросите у него толком: зачем он отобрал эту книгу? Он и сам не знает; просто, чтобы показать свою власть, чтобы арестант ежеминутно чувствовал над собою его вседержащую руку. Ему дома не угодят,—а у больного одиночника отбирают ни с того, ни с сего постель (больным дается соломенный матрац, суконное одеяло и подушка). Ведут уголовного в карцер: он выругался; смотритель услышал это—„высечь его!" И дерут беднягу, как сидорову козу.—Да я тебя так закую, что у тебя потечет изо рта, из носа, из глаз, из ушей, из костей! и т. д. и т. д. И над самодуром стоят такие же более чиновные самодуры, и все это самодурство висит над главами заключенных.

Где-то что-то кто-то сделал (в Одессе или Киеве), а новобелгородским арестантам грозят, что это отзовется на них, и действительно отзывается—что ни шаг, то придирка. Сегодня разрешили читать Спенсера, завтра отбирают; сегодня Теккерею позволили

явиться к арестантам, завтра его в шею оттуда. „Роман—развлечение, а тюрьма—место страдания“, поучает самодур, и отдается приказание: ни под каким видом не допускать в центральную тюрьму „романов“ (хотя бы романы, даже изданные самим М. Н. Катковым). О Дарвине слышал самодур от кого-то что-то нехорошее. И его в шею!—„Милля, помнится, аттестовали мне не с хорошей стороны; он писал что-то о свободе; его кто-то переводил“, припоминает самодур,—и Милль запрещается; о журналах нечего и заикаться. А ведь для одиночного арестанта, лишенного всех других занятий, книга—вещь очень и очень важная. Вы задумались. Припомните рассказы декабристов, которые 50 лет тому назад могли получать в каторге все дозволенные цензурой книги и журналы, как русские, так и иностранные; припомните, какую благотворную роль играло это право в судьбе декабристов. С тех пор прошло пол-столетия—и какая разительная перемена в отношениях властей к политическим преступникам, какой прогресс гуманности и цивилизации!

В одиночках, кроме политических, есть 5—6 уголовных, осужденных на самые долгие сроки; но они целый день на свободе, и их камеры не запираются, их не стесняют так, как политических, которым даже при случайной встрече запрещают пожать друг другу руку. Эти уголовные служат как бы живою надписью, гласящею: „вы, политические, парии даже между нами, каторжниками; я отцеубийца, осужден навеки; а я разбойник, погубивший несколько душ для наживы,—но за нами слабее надзор, нам здесь вольготнее, чем тебе, тощий, слабосильный юноша, попавший сюда за чтение какой-то книжки двум-трем рабочим“.

Казалось бы, что прогулка составляет не обязанность, а преимущество; между тем, когда однажды один из политических, Герасимов, сначала замешкался, а потом, недовольный грубым понуканием надзирателя, вовсе отказался от прогулки, то смотритель, узнав об этом „непослушании“, сделал виновнику следующее отеческое наставление:

— Ты почему не слушаешься надзирателя? Тебя посадили—сиди, приказывают итти—иди, говорят что—слушай! Вот все, что ты можешь здесь делать. За непослушание я тебя плетьми отдеру.

Другой политический, Серяков, во время прогулки не заметил смотрителя, стоявшего от него довольно далеко.—Честь, честь отдай!—заревел самодур на арестанта.—Взять его в карцер и научить его вежливости!—Но одного карцера показалось мало: провинившийся высидел еще несколько суток на хлебе и воде.

А знаете ли вы, что такое карцеры в центральной тюрьме? Это клетки, отгороженные в ретирадном месте, но абсолютной тьме и

своей величине напоминающие, без преувеличения, могилу. Впрочем, даже для мертвеца среднего роста такая могила была бы, пожалуй, тесна: живые могут поместиться согнувшись. Отсидевший в этой вонючей, тесной клетке при выходе обыкновенно едва держится на ногах от головокружения.

Я не буду утомлять вас, россияне, перечислением других фактов, подобных приведенным сейчас. Но попрошу вас остановиться на несколько минут вот у этой камеры.

Здесь помещается пожилой человек. Если бы он явился перед вами не с полуобритой, полуостриженной головой, без усов и бороды (дикая, бессмысленная мера), то вы заметили бы в его волосах седину. Вот он, закованный в кандалы, в серой куртке, сидит задумавшись у стола.—Здравствуй! — раздается сзади его грубый голос. Он встаст и с легким наклонением головы отвечает: — Здравствуйте, господин смотритель!—Знаешь ли ты, общество, что этим скромным, вполне приличным ответом Елецкий (это он) совершил преступление, вызвавшее начальнический гнев. — Как ты смеешь, болван, так отвечать? или ты думаешь, что ты у себя дома? Взять и научить его вежливости!—приказывает смотритель подчиненным.

Дело в том, что ему хотелось, чтобы политические преступники на его крик: „здорово!“ становились по-солдатски на вытяжку и отвечали бы: „здравия желаю, ваше выс-бл-родие!“. Что должен был чувствовать в эту минуту Елецкий, проживший до седых волос в кругу порядочных людей, уважавших его,—об этом я предоставляю судить тебе самому, русское общество, если только ты еще не совсем потеряло способность чувствовать по-человечески.

Впрочем, не сокрушайся о судьбе этого человека: он прожил только около года в этой варварской обстановке и затем поторопился перейти туда, где нет ни тюрем, ни смотрителей...

Когда слабый, изнуренный, смотревший уже в гроб Елецкий затруднился встать при входе смотрителя, то последний очень обиделся и крикнул:—Научить этого невежу быть почтительным!—Как видите, хотят, чтобы политический преступник даже на краю могилы „отдавал честь“ начальствующим особам.

Но Елецкий сошел в гроб неначученный вежливости. Где уже старику усвоить искусство полицейского приличия, когда оно не далось даже молодым его товарищам, несмотря на ругань, подобную той, которую вы слышали сейчас. Тупость их в этом отношении была так безнадежна, что, наконец, смотритель совсем отказался делать их приличными на свой лад.

Рядом с Елецким проходит пред нами тень его спутника на кладбище—Малиновского. В последние дни своей жизни он до того ослабел, что был не в состоянии переворачиваться без посторонней

помощи. Но его просьбы оказать ему эту услугу, в большинстве случаев, оказывались тщетными. Бесчеловечие доходило даже до того, что на просьбы его ему отвечали руганью и пожеланием „скорее издохнуть!“

Рядом с ними похоронен и Гамов, побывавший прежде могилы в сумасшедшем доме.

Мир праху вашему, честные страдальцы, жертвы правительственного деспотизма и общественной сонности!

Пожалуй, кто-нибудь возразит: возможно ли, чтобы то самое правительство, которое на весь мир выразило свое негодование против своеволия турецких администраторов и выступило на защиту якобы славян против этого произвола, то самое правительство, которое так печется о турецких политических преступниках и настаивает на даровании им полной амнистии,—возможно ли, чтобы оно относилось так варварски к своим собственным политическим осужденным? Уж не злоупотребление ли это со стороны администрации, неведомое высшим представителям государственной власти?

Нет—это не злоупотребление!

Не случайные зверства, могущие всегда производиться без ведома и помимо высшего начальства, делают невыносимой жизнь политических; нет—вся система содержания их, все подробности и частности клонятся к тому, чтобы превратить для них тюрьму в застенок, где медленно, постепенно их замаривают до смерти или доводят до сумасшествия. Остановимся же на минуту и взглянем на весь ensemble жизни политических в центральной тюрьме.

Белгородская центральная тюрьма для каторжников, в 56 верстах от Харькова, состоит из так называемого главного корпуса и двух одиночек. Главный корпус назначен для общих камер, в которых число арестантов нередко достигает 500—600 человек, хотя определенный комплект 450 человек.

Одиночки же — не более, как ряд каменных ящиков, куда запирают живых людей. Число этих каменных ящиков в обеих одиночках простирается до 30, в каждой по 15. В них, по закону, должны содержаться временно наиболее важные арестанты. Это назначение их уже показывает вам, что между ними и общими помещениями должна существовать резкая разница; и действительно, контраст громадный и бросается в глаза сам собою. Там—говор, шум, кое-какие признаки жизни, хотя бы и арестантской. А посмотрите на одиночки!—могильная, мертвая тишина! С первого взгляда можно даже усумниться, есть ли там живые люди; но часовой снаружи и надзиратель в коридоре удостоверяют, что они кое-кого стерегут. Становится страшно за людей—как они могут жить в таком абсолютном уединении, и начинаешь понимать жалобы

злополучного Тассо у Байрона. Да, именно „здесь смех не смех, здесь мысль не плод ума, и человек—не жизнь, а смерть сама"! Я уже сказал, что одиночки, по закону, предназначены для более тяжких преступников. Повидимому, определение степени преступности принадлежит всецело юрисдикции суда. У него для этого есть давно практикуемая мерка—назначение срока каторжных работ. Преступник, осужденный на 10 лет, с точки зрения суда, обязательной для администрации, вдвое преступнее того, кто осуждён лишь на 5 лет. Это, кажется, самая азбучная юридическая истина. Между тем действительность резко расходится с нею. В Новобелгородских одиночках сидят люди, осужденные на 10, на 8, на 5 лет, и не временно, а весь срок, в то самое время, как в общих камерах, в более льготных условиях, сплошь и рядом встречаются каторжники, приговоренные на 15—20 лет или на вечную каторжную работу в рудниках. Эта вопиющая несправедливость объясняется тем, что почти все одиночные суть политические преступники. Насколько нам известно, закон не делает различия между каторжниками уголовными и политическими—они подведены под одну мерку. Администрация, совершенно игнорируя законы и решения судебной власти, заставляет человека, осужденного на 5 лет, нести более тяжкие наказания, чем осужденного долгосрочного каторжника, только потому, что он не убийца, а политический. Вот еще несколько примеров правительственного беспристрастия и благородства. В новобелгородской тюрьме 24 политических преступника; следовательно, в одиночных есть еще несколько свободных, незанятых номеров. Туда посадили уголовных, осужденных на вечную каторгу; но посадили не затем, чтобы сравнять их с злополучными политическими, а исключительно в видах наибольшего стеснения последних. Свежему человеку это, может быть, покажется невероятным, но вот факты: летом и осенью прошлого года, когда в тюрьме не было уголовных преступников, все хозяйственные работы исполняли политические: дров ли натаскать, печи ли затопить, корридоры ли подмести, воды ли накачать, полы ли вымыть,—все делали сами политические, к великому их удовольствию: всё-таки движение и хоть какая-нибудь мускульная работа. Но при первой же возможности начальство постаралось отнять у них эту „привилегию"; как только прибыли в тюрьму уголовные, несколько человек из них посадили в одиночки, с предоставлением им там всех хозяйственных работ. Эти вечно-каторжные уголовные только на ночь запираются в отдельные камеры, а целый день вместе. Политические же абсолютно изолированы друг от друга. Ясно, что эти уголовные посажены в одиночки не для отягчения им наказания, а лишь для стеснения политических. Не говоря уже о хозяйственных работах, в тюрьме

есть кое-какие мастерские, как для удовлетворения потребности тюрьмы, так и для выполнения заказов с воли. Но политических тщательно удаляют от всяких работ, стараясь довести до минимума их телесные движения. Политические не раз обращались с просьбою: если им не дозволено работать в мастерских или на чистом воздухе, то, по крайней мере, разрешить заниматься в камерах. Но даже и в этом, более чем скромном, требовании им отказано. Да что и говорить: им не дозволяют даже самим мыть полы в своих камерах. Такое систематическое удаление от всяких работ практикуется по отношению к людям, осужденным на каторжные работы. Чем объяснить такое крайне печальное и достойное внимания явление? Всякому понятно, каковы должны быть результаты подобной системы: до невероятности строгое одиночное заключение, отсутствие всяких работ, ужасная подавленность, малопитательная пища, намеренные оскорбления на каждом шагу и, вследствие этого, постоянное раздражение, полумрак в камере (от замазанных краскою окон, чего в общих камерах нет), чрезвычайно вредно действующий как на зрение, так и на нравственное состояние арестантов, отсутствие постели, кандалы, лишение чаю и табаку, к которым приучен организм, все это, конечно, способно развивать неимоверную болезненность и смертность в среде политических.

И действительно, между нами болеет обыкновенно от 25—30 проц., а о смертности можете судить по следующему факту: до 1877 г. в н.-белгородской тюрьме было всего человек 10 политических; из них до этого же 1877-го г., в течение одного—двух лет, умерло трое: Гамов, Малиновский и Елецкий. Итого, почти целая треть сделалась жертвою бесчеловечных условий одиночного заключения. Ведь это настоящее систематическое избиение! Администрация, как видно, не только считает это явление нормальным, но даже желательным; по крайней мере представители ее, не стесняясь, в глаза политическим больным выражают пожелания скорее убраться на тот свет. Впрочем, можно ли распространяться об этом в настоящее время, после того, как недавно в суде обнаружено, что на 193 обвиняемых, представших пред судом, оказалось до 70 человек, умерших в доме предварительного заключения! После этого всем известного „опыта“ уже нельзя говорить, что политических убивают в тюрьмах по „недоразумению“. Не характеристичны ли такие, например, факты, что в н.-белгородской тюрьме больным уголовным дают чай, а больные политические не пользуются этим преимуществом; больных уголовных обязательно расковывают на все время болезни, а больные политические оставляются в кандалах. То же самое относительно постели: больным политическим не всегда ее выдают; это скорее зависит от каприза смотрителя, чем от распо-

ряжения доктора. Для уголовных больных существует больница, политических же ни при какой болезни в больницу не отправляют: их оставляют в их ужасных клетках! Зачем им больница. В клетках скорей поколеют. А это только и нужно!

Но случается, что эти хилые, слабые юноши, по нарочитой ли злобе против начальства или по чему другому, никак не хотят умирать. Год, два, четыре сидят они в этих ужасных застенках, выносят всевозможные пытки, и все—живы! Что делать с этими непокорными?

Тогда совершается дело самое возмутительное, самое вопиющее, самое неслыханное—их держат без срока!..

Для всех уголовных, виновных в убийствах, отцеубийствах, поджогах, кровосмешениях и других преступлениях не столь ужасных, судом назначается известное число лет каторжных работ, разумея при этом нормальную, так сказать, каторгу, т.-е. каторгу в рудниках. Но власть очень хорошо понимает, что существуют виды наказаний, гораздо более тяжкие, чем работы в рудниках. В числе их самым ужасным справедливо считается заключение в центральных тюрьмах, в особенности же одиночное заключение. Одиночное заключение считается самим правительством таким жестоким, что уголовные, даже самые тяжкие, подвергаются ему только на весьма короткий, так называемый, испытуемый срок. После этого их сажают в общие камеры, где, конечно, заключение без сравнения легче. Тем не менее и здесь оно считается настолько тяжелее обыкновенной каторги, что один год его приравнивается, не считая штрафовок, к двум годам последней. Таким образом, все уголовные, осужденные на срочную каторгу и посаженные в центральную тюрьму, никогда не высиживают в ней более половинного срока. Затем, согласно закону о каторжниках, отбывших свой срок, они отправляются в Сибирь на поселение [1]).

Для политических же ничего этого не существует. Политических никогда не переводят из одиночных в общие камеры. Политических никогда не отправляют на поселение. Кончается срок—их продолжают держать и держат в тех же камерах, при тех же условиях!..

„Оставьте всякую надежду, вы, сюда входящие!“

Смерть, одна смерть, медленная, ужасная, ждет впереди всякого политического, переступившего через страшный порог этой тюрьмы!

---

[1]) В виду того, что нарушение закона о ссыльно-каторжных, по своей чудовищности, может показаться невероятным, считаем нужным указать соответствующие статьи законов. См. т. XIV, Устав о ссыльных, ст. 577, ст. 577 же по продолж. 1876 г., примечание; затем ст. 569, ст. 584 по продолж. 1876 г., ст. 583 по продолж. 1876 г., ст. 582 и ст. 591 по продолж. 1876 г.

Да, они—„заживо погребенные“!

Ну, общество, позволь же спросить тебя: что это—злоупотребление администрации или систематическое, спокойно обдуманное замаривание людей до смерти?

Таков характер общих мер. Посмотрим теперь, как держит себя правительство в тех случаях, которые, даже по бесчеловечным правилам тюремного устава, должны быть признаны злоупотреблениями.

Когда, недавно, обитатели новобелгородских одиночек, после описанного случая — заковки в кандалы больного Плотникова, дерзнули обратиться к смотрителю с просьбой донести губернатору, что они недовольны им, смотрителем, и считают его обращение с ними невыносимо грубым, бесчеловечным (с указанием случаев, подтверждающих эту жалобу), то получился следующий результат: прежде всего смотритель, разъяренный дерзостью каторжников, осмелившихся считать за собой право на человеческое обращение с ними, подверг их еще бо́льшим стеснениям: лишил их права получать „подаяние“ (добавление к арестантской пище, приносимое с воли); некоторых вовсе лишил прогулки, для других сократил ее, некоторых больных заковал в кандалы, отнял у них постель и больничную порцию, посадил их на обще-арестантскую, крайне суровую пищу, и, наконец, приказал заколотить в номерах отверстие над дверью, выходящее в коридор и служащее единственным вентилятором [1]). Но интереснее всего резолюция губернатора: хотя смотритель действительно не имел права заковывать отсидевших испытуемый срок, но губернатор предписал посадить за оскорбление смотрителя протестантов в карцер на 1—3 суток, а тех из них, которые уже отбыли срок испытания, вновь записать в разряд испытуемых с награждением кандалами. Значит, и губернатор держится той самой теории, которую мы слышали из уст смотрителя: уважать жалобу арестантов, хотя бы до очевидности справедливую, опасно; а ведь известно, что беспрекословное повиновение властям—базис полицейского строя.

---

[1]) Когда один из больных, Серяков, стал жаловаться на слишком спертый воздух, в котором приходится задыхаться, то смотритель вместо ответа пожелал ему скорее умереть. Тот же больной просится гулять.—Нельзя, возражает смотритель, в халате легко простудиться“. (Какая, подумаешь, стеческая заботливость о здоровье арестантов).—Так пусть, по крайней мере, выводят меня в коридор, — настаивает больной. Но и это требование не уважено, хотя не только причины, но и повода к отказу не было. В это же время другого больного, Черняевского, провинившегося в разговоре с соседом, смотритель приказал заковать в кандалы. Когда же тот заявил, что он не даст себя заковать, пока не освидетельствует доктор, то приказание это было исполнено силою под аккомпанимент смотрительской ругани.—Еще вздумал рассуждать!—повторил несколько раз самодур.

Поднимемся еще повыше. Летом в 1877 г. в н.-белгородскую тюрьму приезжал министр юстиции. Между прочим, он посетил одного из опасно больных политических. Последний заявил ему, что если не будут изменены нынешние невыносимые условия, которыми обставлены политические, то вся эта масса безобразных стеснений неминуемо сведет их из настоящего временного гроба в гроб вечный. Высший представитель юстиции, граф Пален, с особенною расстановкою и свойственным ему акцентом, ответил:—Так вам всем и надо! Страдайте! Вы сделали много зла для России.— Говоря с политическими, он особенно подчеркивал местоимение „ты“, между тем как в разговорах с уголовными употреблял „вы“.

Велико терпение человека, но всякому терпению наступает, наконец, предел! Много лет терпели политические безмолвно и безропотно, несколько раз обращались с жалобами к губернатору, но кроме новых жестокостей ничего не получали. Наконец, дело разразилось голодным бунтом.

Вот его история.

Несколько месяцев тому назад был принят в старшие надзиратели некий Кирпичный, который был однажды прогнан по жалобе уголовных на его жестокое обращение, потом снова принят и снова прогнан, и опять принят и произведен в старшие надзиратели над политическими. С этим-то цербером и произошла та история, которая была последней каплей, переполнившей меру терпения политических.

Второго июля нынешнего года, Джабадари, возвращаясь из сартира, подошел к дверям камеры Сирякова и что-то ему сказал. Услышав это, Кирпичный подскочил к Джабадари и начал на него кричать во все горло.—Вы не имеете права кричать, можете пожаловаться!—заметил ему Джабадари. Тогда Кирпичный кинулся на Джабадари и начал его толкать в камеру.—Не деритесь, вы не смеете драться!—воскликнул Джабадари. Тут бешенство цербера перешло всякую меру. Не помня себя от ярости, он выхватывает револьвер и прицеливается... Но в эту минуту из всех камер раздаются неистовые крики заключенных, свидетелей всей этой дикой сцены. Револьвер опускается. Кирпичный с ругательством уходит.

На другой день Долгушин, от лица всех шести товарищей, сидящих в левой одиночке, объявил смотрителю, что они не могут долее выносить такой образ жизни и что если их положение не будет изменено, то они все решили уморить себя голодом. Смотритель не обратил на это заявление никакого внимания. Тогда 3-го июля все шесть человек перестали принимать пищу. Это были: Джабадари, Долгушин, Ревицкий, Серяков, Петр Алексеев и Зданович. Из них Зданович начал голодать с 4-го июля,

потому что 4-го или 2-го он был посажен в карцер за найденную у него записку, на шесть дней; но смотритель выпустил его 4-го, т.-е. до срока, в надежде, что, задобренный его прощением, Зданович станет уговаривать товарищей прекратить голодание. Разумеется, Зданович тотчас же присоединился к голодающим. К ним присоединились бы несомненно и прочие политические, но они, сидя в правой одиночке, решительно ничего не знали о том, что делается в левой.

3-го и 4-го июля, т.-е. первые два дня голодания, когда заключенные отказывались от еды, ее уносили обратно в кухню. Но начиная с третьего дня ее оставляли в камерах по целым дням, и при том пища была самого лучшего достоинства. Никто, конечно, к ней не прикоснулся. Смотритель, испугавшись такого оборота дела, сейчас же сменил всех надзирателей в левой одиночке, обращением которых могли быть недовольны политические, и поставил на их место самых вежливых и мягких. При этом сам смотритель пускал в ход всевозможные заискивания, упрашивания и даже хитрости, чтобы только уговорить голодающих начать есть. Так, Зановичу он сказал, что принес ему пищу якобы от его сестры, к которой тот очень расположен; Долгушина молил пожалеть себя для сына, нежно им любимого. Но все было тщетно. Все шесть человек продолжали голодать, хотя многие из них от страшного истощения не могли уже встать с постели: это были 5-й и 6-й день голодания. Тогда смотритель струсил не на шутку и послал извещение о случившемся в Харьков к губернатору. 10-го июля в тюрьму приехали советник губернского правления Сумцев и инспектор врачебной управы. Они сперва тоже начали уговаривать голодающих начать есть, но, получивши также решительный отказ, объявили, что если голодающие не желают есть добровольно, то их сумеют накормить силою. И действительно, инспектор врачебной управы привез с собою машинку для открывания рта и клизопомп, при помощи которого можно вводить в организм бульон. Эти машинки были переданы тюремному фельдшеру, и он должен был начать наполнять голодающих пищею, как мешки. Но эта была только угроза. Начальство не посмело совершить такого возмутительного насилия над полуживыми людьми: оно знало, какие роковые последствия может иметь для них такое насилие. Видя, что ничем нельзя сломить голодающих, и опасаясь ждать долее, начальство обещало, наконец, им, что все их требования будут исполнены. Таким образом на 8-й день голодания, т.-е. 10-го июля, 6 человек голодающих начали есть. Последние дни все голодающие не могли уже встать с кроватей, а Джабадари и Петр Алексеев до сих пор еще не могут ходить.

Но каковы же были те требования, удовлетворения которых эти люди должны были добиваться такой страшной ценой? Наверное они были чем-нибудь непомерно дерзким и наглым!

Послушай, общество,—это очень интересно!

Голодавшие требовали, всего-на-всего, приравнивания себя с убийцами, грабителями, поджигателями—требовали уничтожения одиночного заключения, дозволения работать в мастерских, дозволения получать пищу от близких, извне. Все это давно существует для уголовных!

Потом они требовали разрешения получать книги, дозволенные цензурою русскою, а не смотрительскою (образчики которой мы видели выше). Наконец, они требовали человеческого обращения с ними со стороны смотрителей и надзирателей.

Два последние требования нельзя даже назвать т р е б о в а н и я м и, потому что самому тупоумному человеку ясно, что неисполнение их—дикое злоупотребление самодурствующего скота.

А между тем, кто бы поверил! Обещание начальства оказалось бессовестною ложью; до сих пор из всех требований, которые обещали исполнить, исполнено только последнее: власти, в особенности смотритель, самым низким образом лебезят перед политическими, которых так недавно оскорбляли на каждом шагу

Все же прочие требования остались неисполненными.

Мы кончаем. Факты, здесь рассказанные, достаточно красноречивы и не нуждаются в патетических комментариях.

Что-нибудь из двух: или в тебе, общество, есть еще некоторая доля живого, незараженного индифферентизмом к правде чувства, и тогда ты само сумеешь оценить развернутую пред тобою картину страданий и изыщешь средства, если не устранить совсем, то облегчить эти страдания, или ты в конец тупо и безнравственно, и в таком случае самое жгучее, искреннее, страстное слово не расшевелит твоей душонки.

Здесь мы могли бы проститься с тобою, но нам хочется сказать еще несколько слов, чтобы указать надлежащее место в ряду общеисторических фактов тому грустному явлению, с которым мы только что знакомили тебя, общество. Вглядись хорошенько в эти одиночки с их невольными аскетами-веригоносителями, систематически вгоняемыми в могилу. Когда „святая“ инквизиция подвергала ауто-да-фе религиозных вольнодумцев, то у ней было извинение: она действовала во имя авторитета божественно-католической церкви, в непогрешимость которого верило все тогдашнее общество—весь народ. А эти застенки-одиночки—во имя чего воздвигнуты? Во имя жандармской непогрешимости, не исповедуемой никем. Еретиков, осужденных инквизиционным судилищем, не прятали от взоров общества;

их наказывали на глазах народной толпы, при одобрительных криках зрителей. А еретики, осужденные российским политическим трибуналом, перевозятся из тюрьмы в тюрьму по ночам, тайком, при многочисленном конвое, и на уста общества наложена печать строгого молчания; значит наши инквизиторы сознают, и не могут скрыть этого сознания, что их расправа с политическими преступниками далеко не пользуется общественным сочувствием и только благодаря дряблости, тряпичности общества, возможна эта расправа. Кто же выше в нравственном отношении: всеми поносимая инквизиция или российская жандармерия? Если мы называем грубым, невежественным, варварским общество, в котором процветала инквизиция, одобрявшаяся тогдашнею общественною совестью, то как назвать общество, в котором свирепствует жандармерия, осуждаемая современными нравственными принципами?

Когда-то, по распоряжению архиепископа Геннадия, новгородские религиозные вольнодумцы посажены были на коней лицами к хвосту; в вывороченных одеждах, в берестовых шлемах, с венцами из сена и соломы, провезли их по улицам и зажгли шлемы. С тех пор прошло три столетия. Россия, по уверению многих, сделала гигантские шаги по пути цивилизации, особенно в последнее время; и что же мы видим? Политические вольнодумцы в серых арестантских куртках с бубновым тузом на спине, в серых круглых шапках с подзатыльником, в кандалах, с бритыми головами, подвергаемые всевозможным лишениям и оскорблениям, в каменных клетках, обречены на верную смерть или сумасшествие!

Русское общество!

Не ради литературной формы, не с целью возбуждения твоего интереса напечатали мы это воззвание от имени наших заключенных товарищей. Нет, оно действительно целиком принадлежит им, этим страдальцам, заживо-погребенным русским правительством в каменных гробах новобелгородской центральной тюрьмы. Каждое слово этого воззвания—стон этих замуравленных, прорвавшийся сквозь каменные стены их гробниц.

Услышь же его, русское общество: еще не поздно!

Перед тобой живая повесть о тех „мерах справедливости и законности“, которых правительство „с особым долготерпением“ держалось относительно нас, социалистов, и которые заставили нас, наконец, прибегнуть к кинжалу, как к единственному средству самозащиты!

Ты ужасаешься, когда тебе рассказывают, как люди выходят с кинжалами и револьверами на площадь и, рискуя тысячу раз своими головами, поражают изверга, замучившего десятки их товарищей и

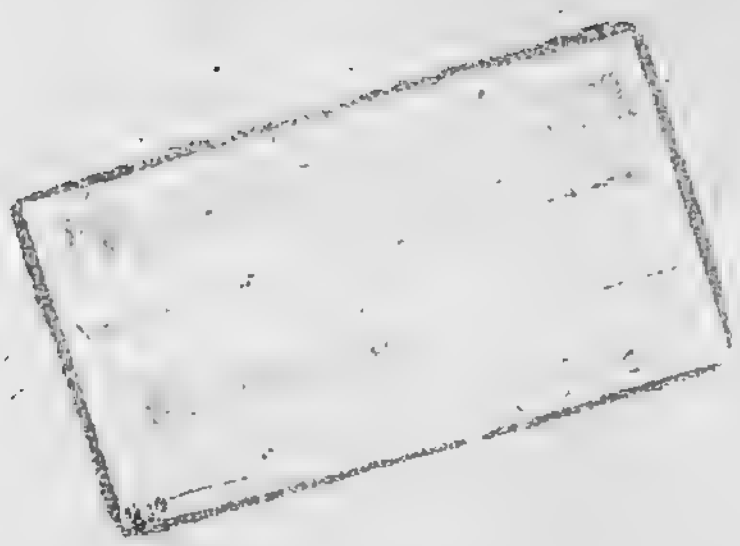
готовящегося замучить новые десятки их. Ты называешь это злодеянием, ужасным, неслыханным...

Что ж, называй!

Ты видишь, что довело нас до этого. Мы же скажем тебе, что так и впредь будет.

Прочь подлые руки, что душат нас за горло и зажимают нам рот,—или кинжал наш никогда не вложится в ножны!

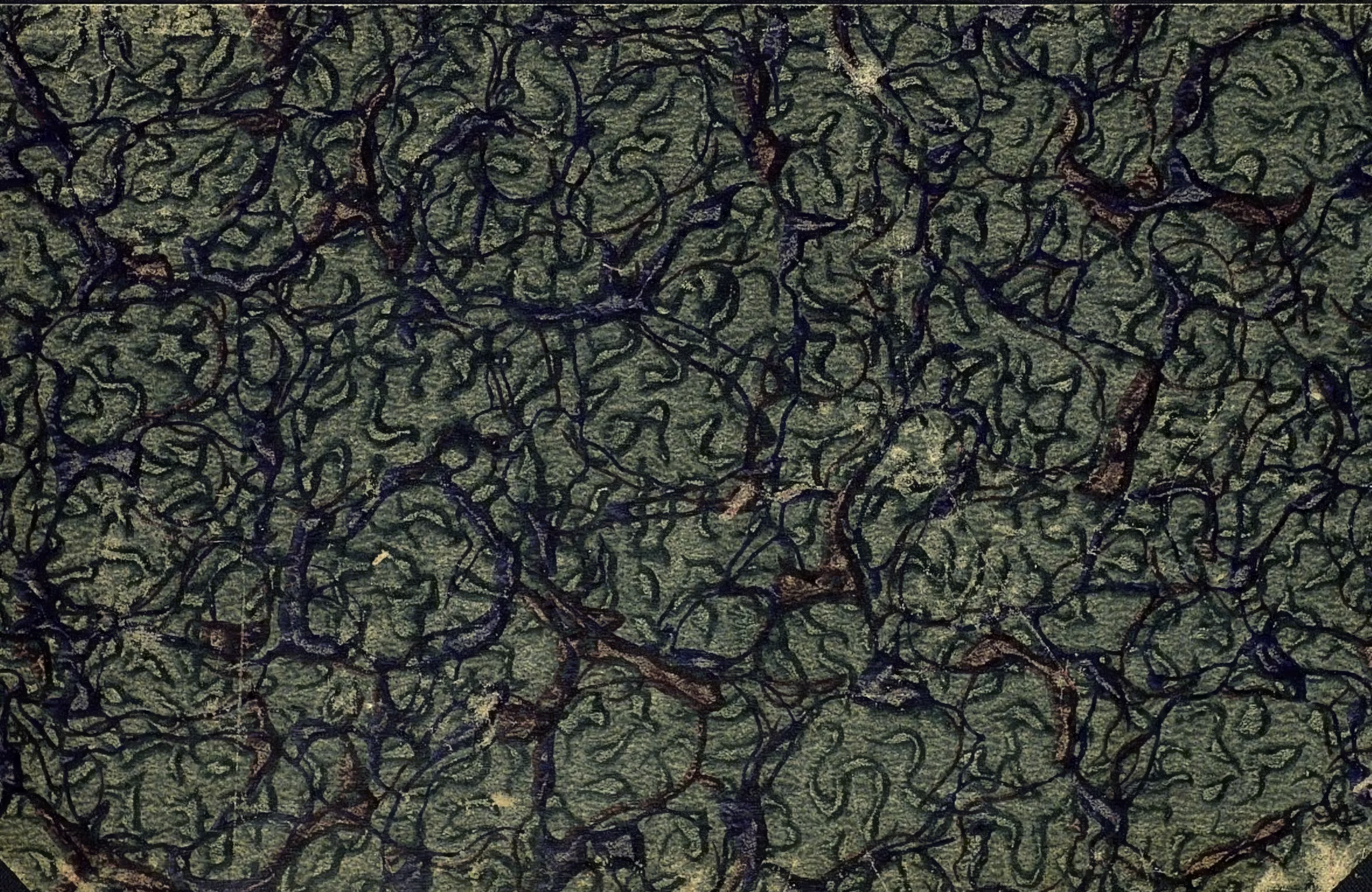
Подумай об этом, русское общество, подумай о том, как остановить ту систему чисто средневекового варварства, которой держится с нами правительство,—иначе тебе суждено быть свидетелем вещей д е й с т в и т е л ь н о ужасных, неслыханных!



	Р.	К.
Жорес. Мир и пролетариат.	—	45
Закон о лесах Российской Фед. Сов. Республики.	—	30
Зиновьев, Г. Корни оборончества . .	1	10
Его-же. Наше положение и задачи создания красной армии	—	25
Его-же. Австрия и война.	1	80
Его-же. Из истории пролетарского праздника 1 мая.	—	30
Его-же. Г. В. Плеханов. Вместо речи на могиле.	—	45
Его-же. Хлеб, мир и партии	—	70
Его-же. Рабочие партии и профессиональные союзы	2	25
Его-же. Речь о создании красной армии. 2-е изд.	—	25
Его-же. Социализм и война.	1	10
Его-же. Н. Ленин, жизнь и деятельность	2	—
Его-же. Письмо к крестьянам	—	50
Его-же. Слово к красноармейцам .	—	40
Его-же. Чехо-словаки, белогвардейцы и рабочий класс	—	35
Его-же. Что делать в деревне	—	70
Его-же. О мятеже левых эс-эров . . .	—	60
Его-же. Франц Меринг	—	30
Его-же. Из истории нашей партии . .	1	10
Его-же. Война и кризис социализма . .	15	—
Его-же. Задачи рабочей и крестьянской молодежи	—	90
Его-же. Работница, крестьянка и Советская власть.	—	70
Его-же. Что должен знать и помнить коммунист-красноармеец	—	70
Зиновьев, Г., и Ленин, Н. Против течения, 2-е изд	10	—
Зиновьев, Г., и Троцкий, Л. Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Речи, произнесенные на заседании Петр. Совета	2	—
Интернационал и мировая война . . .	60	—
Ионов, Илья. Алое поле. Стихотворения, 2-е изд.	1	50
Калер, Э. В. Вейтлинг, его жизнь и учение	5	—
Кампанелла, Томас. Государство солнца Утопия	4	30
Карпинский, В. А. Мир или война . .	—	15
Катая, С. А. Террор буржуазии в Финляндии	3	50
Каутский, К. Наука, жизнь и этика . .	—	30
Его-же. К. Маркс и его историческое значение	8	—
Его-же. Экономическое учение К. Маркса, 2-е изд.	3	50
Его-же. Этика	2	25
Его-же. На другой день после социал. революции	—	75
Его-же. Классовые интересы	—	40
Его-же. Карл Маркс. Биографический очерк.	—	45
Его-же. Томас Мор и его Утопия . . .	12	—
Его-же. Ирландия	1	40
Его-же. Возникновение брака и семьи .	2	25
Керженцев. Как вести собрания . . .	1	40
Кий. Что такое социализм?	1	10
Его-же. Республика Советов. 4-е исправл. и дополненное изд. . . .	—	40
Его-же. От крестьянской общины к социалистической коммуне	—	35
Его-же. Сельская коммуна	—	40
Клюев Н. Медный кит	2	40
Князев, В. Красные звоны и песни . .	2	50
Его же. Красное Евангелие	1	20
Его-же. Песни красного звонаря . . .	8	—
Коллонтай. Работница-мать	—	35
Коммунистический Интернационал к трудящимся всего мира. Да здравствует 1 мая	1	—
Конксль. Коммуна 71 г.	2	—

	Р.	К.
Конституция Советской Республики . .	—	40
Королькевич, Б. Е. Финансовые и экономические законы и мероприятия Германии против держав Согласия за время нынешней войны.	—	35
Лазар, Бернар. Антисемитизм и революция	—	70
Лангман. Бартель Туразер	9	—
Лассаль, Ф. Принципы труда в современном обществе	—	60
Его-же. Дневник	6	75
Лафарг, П. Происхождение религиозных верований	—	60
Его-же. Благотворительность и право на труд	—	60
Его-же. Миф о непорочном зачатии . .	—	35
Его-же. Вера в Бога. Разошлось. Печатается 2-е издание	—	75
Его-же. Труд и капитал	7	50
Его-же. Патриотизм буржуазии	1	10
Его-же. Право на леность	1	10
Его-же. Кампанелла.	10	—
Ленин. Доклад и заключительная речь на 3-ем Всероссийском Съезде Советов	—	25
Его-же Борьба за хлеб. Разошлось. Печатается 2-е издание	—	40
Его-же. За 12 лет. Собрание статей . .	20	—
Его же. Пролетарская революция и ренегат Каутский	4	50
Его-же. Главные задачи наших дней .	—	65
Его-же. Уроки революции. 2-е издание.	—	40
Его-же. Империализм, как новейший этап капитализма. (Попул. очерк)	4	40
Его-же. Успехи и трудности Советской власти	2	20
Лесков, Н. С. Евреи в России. . . .	17	—
Его-же. Сказание о Федоре-Христианине и о друге его Абраме-Жидовине	6	—
Либкнехт, В. Два мира	1	60
Его-же. Никаких компромиссов, никаких избирательных соглашений .	1	30
Его-же. 1848 год и Коммуна. Разошлось. Печатается 2-е издание . .	2	—
Его-же. Воспоминания о К. Марксе .	2	—
Его-же. К юбилею мартовской революции	3	80
Либкнехт, Карл. Мой процесс. (По документам). С предисловием Зиновьева и портретом К. Либкнехта .	12	—
Лилина, З. Солдаты тыла. Женский труд до и после войны. Разошлось. Печатается 2-е издание	2	10
Ее-же. Организуйте женщин	—	50
Ее-же. Что дала революция народу . .	—	35
Литературный сборник, посвященный памяти Г. В. Плеханова	3	45
Логинов. На страже. Стихотворения. Сатиры	1	80
Линдеман, Г. Коммунальная политика социализма	1	40
Лукин, Н. Церковь и государство . .	—	50
Луначарский, А., и Зиновьев, Г. К. Маркс и социальная революция. Разошлось. Печатается 2-е издание .	—	65
Луначарский, А. Комедии. 2-е издание.	5	20
Его-же. Карл Маркс. Ко дню 100-летия со дня рождения	—	50
Его-же. Королевский брадобрей (Власть). Пьеса	3	—
Его-же. Первый пророк и мученик революции Радищев	1	20
Лурье, М. (Ю. Ларин). Суд над К. Либкнехтом	—	45
Его-же. Крестьяне и рабочие в русской революции	2	—
Его-же. Состав пролетариата. 2-е издание	—	65
Майская, Татьяна. Полустанки . . .	3	50

	Р.	К.
Маркс, К. Либералы у власти	2	—
Его-же. Наемный труд и капитал	1	40
Его-же. Заработная плата, цена и прибыль	—	85
Его-же. К еврейскому вопросу	3	75
Маркс, К., и Энгельс, Ф. О коммунизме	1	40
Их-же. Манифест коммунистической партии	2	80
Мархлевский. Что такое политическая экономия?	1	10
Меринг, Фр., и Лафарг, П. Фридрих Энгельс	1	40
Мещеряков, В. Деревенская беднота и путь к социализму	—	40
Мирбо. Жан и Мадлена. Драма	1	50
Моррис, В. Вести ниоткуда. Утопия	8	50
Мор, Т. Утопия	7	20
Муйжель. Бабья жизнь	3	50
Его-же. Старый Камора	2	—
Наш рабочий праздник 1 мая	—	30
Немоевский, А. Люди революции	5	—
Новорусский, М. Грибы	10	—
Олар. Политическая история французской революции	21	—
Памяти К. Маркса. Сборник статей. 2-е издание	4	50
Памяти К. Либкнехта и Розы Люксембург. Сборник статей	5	50
Первый социалистический советский настольный календарь	20	—
Петрович. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!	—	50
Пименова. История Интернационала	3	50
Плеханов, Г. Речь о Белинском	1	80
Программа Российской коммунистической партии	1	50
Равич, С. Что такое республика Советов	—	75
Радек. Анархисты и советская власть	—	12
Раковский. Социалисты и война	1	—
Рионов, Ник. Как совершать записи рождений, брака, развода, внебрачных детей и установление отцовства у народных нотариусов	—	75
Ромэн, Роллан. Жан Кристоф. Заря, т. I	4	—
" " Утро, т. II	7	50
" " Юность, т. III	—	—
" " Бунт, т. IV	—	—
" " Ярмарка на площади, т. V	7	50
" " Сердце Франции, т. VII	2	25
" " Неопалимая купина, т. IX	12	—
" " В стороне от схватки	5	20
Рубакин. Вода на земле, под землей и над землей. С многочисленными иллюстрациями	3	—
Его-же. Приключения в стране рабства. С многочисл. иллюстрац.	5	50
Его-же. Дедушка Время. Новогодняя сказка	3	—
Его-же. Что такое кометы	3	50
Его-же. Как и когда разные народы научились говорить каждый на своем языке	2	—
Его-же. Рассказы о делах в царстве животных	6	—
Его-же. Среди тайн и чудес	9	—
Рязанов, Д. Две правды. Марксизм и народничество. Разошлось. Печатается 2-е издание	—	90
Его-же. Обуховское дело. Разошлось. Печатается 2-е издание	—	70

	Р.	К.
Рязанов, Д. 19 февраля. Разошлось. Печатается 2-е издание	—	75
Его-же. К. Маркс и русские люди 40-х годов	1	80
Его-же. Г. В. Плеханов и группа „Освобождения труда"	—	90
Его-же. Англо-русские отношения в оценке К. Маркса	3	75
Советская Россия и народы мира. С предисловием Максима Горького	5	—
Самойлова. Современная безработица и борьба с нею	1	10
Ее-же. Продовольственный вопрос и советская власть	—	90
Ее-же. Что дала рабочим и крестьянам Великая Октябрьская революция. 1-е издание	—	50
2-е издание	1	20
Сборник декретов и постановлений, касающихся коммун Северной области. За 2 тома в папке	100	—
Сборник инструкций, положений и правил по организации сельскохозяйственных коммун	—	30
Срединский, С. Основы газетного дела	2	30
Стеклов, Ю. Черная сотня во Франции. Разошлось. Печатается 2-е изд.	1	20
Его-же. Революция 1848 г. во Франции	2	—
Его-же. Прудон	—	80
Его-же. Поль Лафарг. 2-е издание	—	55
Его-же. Новейшее течение во французском антисемитизме	1	—
Его-же. Интернационал, ч. I	4	80
Его-же. Интернационал, ч. II	2	25
Степанов. Жан-Поль Марат	—	40
Его-же. Твердые цены на хлеб	—	10
Его-же. Кто богатеет и кто разоряется	—	35
Струмилин. Богатство и труд (популярно-научн. очерк)	2	10
Троцкий. Труд, дисциплина и порядок	—	30
Его-же. Слово к рабочим и крестьянам	—	45
Его-же. Советская власть и международный империализм	—	25
Тун, А. История револ. движения в России	4	80
Тюрлан. Парижская Коммуна	2	—
Цена крови	—	40
Хвольсон, О. Метр, гектогр., литр, грамм — общедоступное описание новых мер и весов	5	—
Цеткина, К. Борьба за свободу и мир в России	—	12
Ее-же. Женский вопрос, интелл. пролетар. и социал.	—	70
Ее-же. За большевиков	—	45
*** * *** Мировая война С предисловием Г. Зиновьева	1	10
Чикколини, С. В. Происхождение современной войны	—	25
Чуковский, К. Крокодил. С рисунками художника Ре-ми	10	50
Его-же. Уот Уитмэн. Поэзия грядущей демократии	8	—
Шлиссельбург и его мученики. С иллюстрациями	5	—
Эйснер. В. Либкнехт, его жизнь и деятельность	1	30
Энгельс, Ф. Философия, полит. экономия и социализм (Анти-Дюринг)	11	60
Его-же. Из истории развития социализма	1	40
Его-же. Людвиг Фейербах	2	50
Его-же. Статьи 1871—75 г.г.	5	50
Его-же. Жилищный вопрос	14	—
Яновский. Таблицы для перевода русских мер в международные метрические и обратно	3	50
Ясинский. Воскресшувшие сны. Стихи	12	—

Цена 50 руб.